

Сергей Кузнецов



Дополненное
и расширенное
издание

18+

Игорь Топалки

Сергей Кузнецов

Нет

«АСТ»

2004

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Кузнецов С. Ю.

Нет / С. Ю. Кузнецов — «АСТ», 2004

ISBN 978-5-17-106067-1

В мире, где главный враг творчества – политкорректность, а чужие эмоции – ходовой товар, где важнейшим из искусств является порнография, а художественная гимнастика ушла в подполье, где тело взрослого человека при желании модифицируется хоть в маленького ребенка, хоть в большого крота, в мире образца 2060 года, жестоком и безумном не менее и не более, чем мир сегодняшний, наступает закат золотого века. Деятели индустрии, навсегда уничтожившей кино, проживают свою, казалось бы, экстравагантную повседневность – и она, как любая повседневность, оборачивается адом. Творчество обесценивается, человеческая жизнь хрупка, и невозможно отмахнуться от ужаса бытия.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-106067-1

© Кузнецов С. Ю., 2004
© АСТ, 2004

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	15
Глава 5	17
Глава 6	19
Глава 7	22
Глава 8	25
Глава 9	27
Глава 10	30
Глава 11	32
Глава 12	34
Глава 13	35
Глава 14	40
Глава 15	43
Глава 16	46
Глава 17	49
Глава 18	52
Глава 19	54
Глава 20	56
Глава 21	59
Глава 22	62
Глава 23	63
Глава 24	65
Глава 25	68
Глава 26	70
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Сергей Кузнецов, Линор Горалик

Нет

© Сергей Кузнецов, текст

© Линор Горалик, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

*Сергей Кузнецов посвящает эту книгу своему брату, который
понимает его лучше других.*

Глава 1

Вдруг сдавило горло, больно и неприятно, мягким и мохнатым хлопнуло по лицу; сердце прыгнуло и упало, мелькнуло: «Будешь знать...» – но тут же взгляд поймал ярко-рыжую кисточку на конце хвоста, знакомое порывание нежно всплыло в ухо:

– Арчи, ты псих!

Смеется – очень красивый, очень выигрышного цвета – даже в этом жутком неоне оранжевая шкурка остается режуще-яркой, полосы кажутся глубже; чувственно дышат широкие черные ноздри. Вдруг подумала: может, одного Арчи мне и хватит на сегодня, если он тут без какой-нибудь девахи, может, повторить прежние забавы? – вспомнила, как он осторожно ловил клыками ее палец, потеплела.

– Вупи-Вупи, конечно, я псих! Я самый клевый псих! – играет хвостом, щекочет ее ухо. – Расскажи мне скорей про жизнь.

Сует в руку свой наполовину выпитый коктейльчик, смотрит желтыми глазами. Что рассказать про жизнь? Вечер разговенья, вполне понятная жизнь в такие вечера, даже для тех, кто, как она, не постится и не ждет первой звезды, чтобы с наслаждением наесться до отвала, включить какую-нибудь передачку, сладко потискаться. Для тех, кто не постится, да еще и живет один, да еще и имеет, ну, скажем так, не самые простые вкусы, это не слишком приятный вечер, вечер разговенья. Хотела рано лечь спать и рано же завтра выйти на работу, хоть что-то успеть, потому что вдруг настоящее стало проскальзывать в прошлое, как вот этот желток – в горло: начнешь разбирать почту – уже стемнело. Хотела посидеть в ванне и лечь спать, но за стеной звякают вилками соседи, радостно вопит ребенок – включили телевизор? дали бутерброд с долгожданной колбасой? – тошно, тошно. Вот, Арчи, собралась, пришла – так, потусоваться, увидеть знакомые рожи. Здесь много знакомых рож, раз в месяц или чаще заскочишь сюда на часок-другой, уйдешь расслабленной, иногда еще с каким-нибудь милым тигрусом, котусом – теплая лапа на плече, в такси осторожные когти пощипывают тонкую человеческую шкуру, утром вычесываешь из пледа клочки посторонней индийскому кашемиру синтетической звериной шерсти, умиляешься ей, как детскому волосу на мужской рубашке.

Арчи, видимо, понял уже, что особого разговора не будет. Гладит по головке тяжелой лапой, осторожно отводит волосы за ухо длинным когтем.

– Тошно?

Недаром психиатр по профессии, что ему объяснять-то. Несколько раз они приезжали к ней или к нему – с тех пор, как опять развелся, – из «Микки-Мауса», ласкались нежно. Вупи до сих пор испытывает к Арчи смешную благодарность – ее первый морф, познакомились совсем случайно, на какой-то профессиональной выставке, она бегала вдоль стенда фирмы уже под конец экспозиционного дня, распахивала по коробкам залежавшиеся образцы, он досматривал выставленные на полуразобранных стендах чудеса биопсихической индустрии. Поздоровался, накрыл руку лапой – и все, через час уже лежала на заднем сиденье его синей красоти, цеплялась побелевшими пальцами за гладкую мохнатую холку, истекала соком от запаха шерсти и скольжения шершавого языка. Школьницей еще мечтала о зооморфе, представляла себе обрывками: член, медленно выскальзывающий из мохнатого короткого чехла, проблеск тонких зубов на умном лице, загнутый коготь, полумесяцем лежащий вокруг соска, нежно объезжающий полукругом: туда-сюда, туда-сюда, оставляя намек на кровавую царапину, которая появилась бы на соске, не будь этой нежности, этой теплой игры. Про себя называла их «зверирики», но слова этого стеснялась и брезговала случайными знакомыми, предпочитала или уж не зооморфов совсем, или уж настоящего – не пижона, на три месяца наращивающего себе два бледных клыка, и не модную дурочку с оленьим разрезом глаз при лысом человеческом тельце с морфированной длинной и острой грудкой, а вот такого, как Арчи, – тигруса, левуса, зубруса,

но лишь бы весь в меху и действительно похож на человека-медведя из давней сказки – умного, нежного, сладко и пахуче мохнатого, большелапого, круглоглазого.

Арчи был женат, да ей и не хотелось никаких любовей – хорошо жила, была работа, были деньги, хватало развлечений и без того. Но уж после Арчи – не сразу поняла, кстати, а месяца через три – ни разу не подпустила к себе никого гладкокожего; и только иногда увозила к себе из «Мауса» девочку или мальчика, кисуса или зебруса, отзывалась на их звериный зов, иногда записывала на бионы эти игры в «Королеву Джунглей», как сама их называла стыдливо (ни за что, никогда не сказала бы вслух). Вообще сеты, бионы плюс видео – ничего себе у нее коллекция, хоть и весьма узкого профиля; в последний год даже перестала стыдиться, что продавцы в привокзальных полуподпольных лавках (вот страна; трахать морфа можно, смотреть нельзя) ее узнают, предлагают новенькое: то «Зимовье зверей» (есть опция купить в сете с вижуалом только бион девочки-неморфа – заботятся о зрителе), то «Кошачья свадьба» (плохой бион, вялый, кажется, просто низкого качества запись, но очень красивый вижуал, одна девочка даже с подушечками на лапах – как она ими ест? Или в самом деле – одно молочко лакает?). Сегодня вечером можно было выбрать какой-нибудь из этих сетов, поваляться пару часов с ним и с мягким виброустройством (мохнатое основание, как кармашек, трогательный подарок не в теме находящейся, но уважающей чужие вкусы неблизкой подруги). Но разговор, стук соседских вилок, детский визг, первая звезда висит низко, стучит по макушке: «Тошно? Тошно? Тошно?» – здравствуй, клуб «Микки-Маус».

Арчи лижет осторожно ее ухо и вдруг, отстранясь, говорит:

– У моей первой жены были такие прекрасные, знаешь, большие серебристые уши. Мы ей сделали их в Торонто... Там, знаешь, клиника такая, специалисты по морфам под сибирского пушного зверя. Сделали ее такой... Такооооой...

– Горностай?

– Песец.

Это ничего, да.

– Где она сейчас?

– Замужем.

Ай да разговор под разговорье. Арчи и сам это чувствует, легонько толкает ее бедром раз, и два, и три, – высокий, красивый:

– Ой, Вупи-Вупи, была бы ты моей киской, я бы показал тебе еще и не такие места!

– Киской – киской или киской – «киской»?

Смешно; смеются оба. Она не хочет быть киской, кисусом; и белкусом, и антилопусом не хочет, хотя комплекция позволяет, да, морф бы смотрелся красиво, бедра, талия – все подходит вполне. Красивое, но ничье. Ничейная Королева Джунглей. Впрочем, счастлива.

Арчи явно готов увезти ее с собой или с ней ехать, но сегодня, ох, не вечер для встречи двух одиночеств, можно и до слезок договориться друг с другом о всяких, кто замужем или вообще сгинул на Западном побережье неизвестно почему.

– Нет, – говорит Вупи, – ты прости, слушай, я хочу просто тупо снять кого-нибудь и уехать. А то мы с тобой два сапога пара, договоримся до воя.

Не дурак, понимает – и сам, видимо, того же боится. Гладит по плечу, говорит: «Я тут» – и сваливает куда-то, кисточка мелькает огоньком среди мохнатых и не мохнатых ног и исчезает в неоновой мгле. Вупи пробирается к стойке сквозь меховые запахи, короткошерстные прикосновения, поблескивание неморфных тел вроде ее собственного – заказать густой и очень крепкий ликер, раз, еще раз, – что-то, а уже не тошно, весело даже. Много знакомых морд, хоть и не всех знаешь по именам; вон та девочка-клубочком – шуршит чешуей, помавает раздвоенным языком, – можно бы даже к ней подкатиться, как раз сейчас хочется нового, может, даже и не шерсть, может, вот эта теплая и сухая змеиная шкурка? – но рядом сидит толстое существо, раздувает на огромном загривке очковую трепещущую красоту – муж? друг?.. Кто-

то еще только что был замечен краем глаза – кто-то, с кем однажды явно была хорошо знакома, что-то вспоминается – только шерсть, без модификаций, человеческие ногти на изящной полосатой руке, – а, да, помню, нет, не хочу. В затылок кто-то дышит – а?

– Можно я не буду никаких банальных фраз говорить? Вы мне просто очень нравитесь. Пустите рядом посидеть?

Морф легкий, изящный: лицо чистое, руки тоже, но к тяжелым кистям сбегает очень гладкая, очень короткая шерсть, широкий хвост овалом виден в прорезе джинсов, когда залезает на табурет, сам крепкий и едва ли не ниже Вупи ростом, белые зубы –

– Бобрик?

Улыбается.

– Бобрус, да. Но за «бобрика» спасибо, хорошее слово. Меня так мама зовет.

– Ей нравится? – имеется в виду шкурка, и он понимает, конечно.

– Она не против. Я хороший сын – и без шкурки был, и со шкуркой остался.

Через час в такси Вупи отдергивает руку от гладкой шеи – оказалась негладкой, что-то острое, так и палец порезать можно. Он наклоняет голову, смотрит искоса, по-птичьи, тычет себе в шею пальцем:

– Жабры.

С ума сойти – зачем бобру-то жабры?

– Да ведь бобром потом уже стал – так, для удовольствия; а жабры были – сразу и для дела.

Оказывается, ныряльщик, с аквалангом нырял, работа такая. Сделал жабры – сразу стало легче, можно баллоны не таскать и костюм облегченный. А потом один мальчик рассказал, тюленис, что с шерстью правильной – ну, водоплавающего – под водой прикольно. Долго сомневался, потом рискнул. Оказалось – ай-йя!

– А ты любишь именно зоусов?

Ох, да замолчи ты. Целоваться, оказывается, что с жабрами, что без жабр; ну и ванна у этого мальчика, полквартиры, ты что, и тут ныряешь?

Смотрит хитро.

– Ты любишь, когда тебе языком делают?

Люблю.

– А под водой?

Ох.

Опустошает в поднимающийся над водой пар какие-то бутылочки – сразу пахнет йодом, солью, рыбой; пока Вупи вылезает из тесных белых штанов, отклеивает от груди силиконовый топ – он убегает и прибегает, катает в пальцах два биона: молочно-белый и радужный, полосатый; полосатый кладет на запястье, тычет в кнопку – шарика нет, и только отблескивает радужно-полосатым светом маленькое блестящее пятно на гладкой шерсти. Выдыхает резко, сияет глазами:

– Возьми второй. Специально в Карибском море нырял, записывал. Ну?

Плюхается в воду, подныривает, сверкает сплошной коркой намокшей шерсти.

Видно, как жабры приоткрываются в зеленоватом мареве.

Теплая вода, хорошие руки. Молочно-белый шарик – ключик к заколдованной крошечной дверке; хорош ли окажется вожденный волшебный садик? Пальцем в кнопку – аааахх, хорош, хорош, – зелено в глазах, на коже колыхнется соленая вода, плавают тени, что-то скользит по руке – рыбка?

Бион аккуратно передает восторг чужого тела, очень сильного, очень водного, передает трепетание жабр на шее, пузырьки в горле, мягкое объятие защитных очков на висках. Королева Джунглей в воде прибрежного залива гладит ласковое тело с топорщащейся под водой короткой шерсткой; пошло, фу – но... но...

Язык раздвигает складки плоти, касается ноющего от возбуждения клитора, бедра покалывают острые края жабр, – ааааххх, въехать пальцами в его волосы, колыхающиеся под водой, как водоросли, сжать кулак, царапнув ногтем крутой лоб, заныть от удовольствия – горячие волны по плечам, горячие волны по телу.

Не оставил ни номера своего комм, ни имени. Через пару дней даже сама позвонила Арчи – ты не знаешь, в «Маусе» был бобрус такой, молоденький мальчик, гладколапый? – не знает. Ну, не страшно, хотя приятно было бы повторить. Еще через неделю предложили в киоске «Игры в прибор» – правда, бион только морфа, но зато, знаете, очень необычный, и вижуал тоже красивый; бион наденьте-попробуйте – хлоп: с первых же секунд – морской запах, под коленом – гладкое дно огромной ванны, языком раздвигаешь складки плоти, дотягиваешься до терпкого от воды полного клитора; ошутимо вздрагивает чужое тело, в качаемые водой волосы вцепляется женская рука, ногтем проезжаясь по лбу: черт!

Продавец глядит с насмешкой: хотите и вижуал посмотреть? Узнал, узнал.

На обложке сета твоё лицо, запрокинутое на край этого чертова корыта.

Скотский бобр.

Попалась.

Глава 2

Внезапно перестал теснить пиджак, манжеты словно растворились в поту, пересох язык; ярко-синяя фосфоресцирующая молния летит, летит, сверкая, над полутемной площадкой, целя острием в невидимое смертным небо, ярко-синий фосфоресцирующий шар бешено катится за ней низом, низом – и, как всегда, когда понимаешь, что вот сейчас, сейчас все решится, – видишь происходящее медленно и так детально, что хочется закрыть глаза – невыносимо, слишком ярко и слишком страшно. Нет уже ни пиджака, ни тугих манжет, ни пропотевшего насквозь за последние тридцать секунд воротничка ну очень неплохой рубашки, а только с испариной выступают на лоб азарт и ужас, и ты сам невольно втягиваешь голову в плечи, поджимаешь локти, сгибаешься едва не вдвое и готов немедленно покатиться в сопереживательном экстазе – слава богу, плотная толпа едва дает не то что покатиться – ногами переступить. Внутри тикает метроном, сводит живот, и только следишь в адской прозрачной тишине подпольного ринга, как медленно склоняет молния свое острие – оппа! – и тут время, как полоумное, начинает нестись вскачь, а шар все катится, катится, а молния все ниже, ниже, и ясно уже, что ты все проиграешь сегодня, все спустишь тут до нитки, до исподнего, голым уйдешь отсюда – потому что не остается времени на пируэт, не остается ни доли секунды, не остается... Шар превращается в струну, струна взлетает в воздух, переворачивается раз, и два, и три, крошечная голая ножка вбивается в ковровое покрытие площадки, другая пикой взмывает вверх, в дугу сгибается спина, прилизанная детская головка едва не касается ковра тугим узлом волос на хрупком затылке, и уже у пола полупрозрачная ручка железным захватом ловит приземляющуюся синюю ленту, успевая пустить в липкий от напряжения воздух восхитительную длинную спираль. Аккорд, аккорд. Все.

Рев наваливается таким страшным комом, что опять вминает в тело и пиджак, и рубашку, немедленно ставшую стокилограммовой, и галстук, затянувшийся удавкой. На табло горят списки выигрышей, у тебя сегодня будет повод хорошо расслабиться в номере – молодец, мальчик, молодец, Волчек. Молодец, но бредешь через толпу на ватных ногах к кассе и клянешься себе: никогда, никогда, никогда больше. Никогда, ни на какую интуицию не полагаясь, не ставишь ты больше такие суммы на темных лошадей. Пусть и посмотрела на тебя эта десятилетняя девочка такими ледяными глазами, что ты, который уже пять лет ставит на гимнасток по всему свету, все видал, был в Багдаде, когда сломала себе шею Жанна Свентицки, отстирывал кровь с рубашки, когда черноухий VIP в ключья порвал разрывным кольцом девятилетнюю Галличку Курных после смазанного кульбита, – так вот, сегодня на тебя эта неведомая никому девочка так посмотрела, что ты понял: порвет всех, выгрызет победу у судей из горла, об колено раскучрит любую, которая посмеет получить на одну десятую балла больше, чем она – уродливая, длинноногая, гуттаперчевая, с железными тросами сухожилий под детской прозрачной кожей.

Подумал тогда: только в этой стране на рингах можно увидеть такие глаза; у этих девочек везде страшные лица, но только здесь... Говорят, их тренеры ездят по стране, по самой черной, нищей глубинке, покупают их, этих девчонок, двух-трехмесячными у запойных тупых родителей. Подходящих выявляют так: берут за ножки и тянут в разные стороны; младенец орет, а они тянут; если растягивают до ста двадцати градусов – есть задатки, пойдет. И потом держат в черном теле и тренируют по двенадцать часов в день с годовалого возраста, и с четырех лет выпускают на ринги – для разогрева; с шести на них начинают делать ставки. В двенадцать лет их вышвыривают на улицу – говорят, они все умственно отсталые, некоторые даже с трудом понимают нормальную речь, привыкши к набору команд из двадцати слов.

Обо всем этом Волчек старался никогда не думать. Сочувствие он испытывал не к девочкам, а к тренерам – может быть, отдаленное сходство профессий, необходимость постоянно мотаться по чертовым русским деревням, где до сих пор пьют водку, и по чертовым арабским

деревням, где до сих пор курят гаш, сильно отбивает у профессионалов сочувствие к подчиненным. Глядя на тренера, стоящего недвижно у края ринга, пока крошечная невесомая девочка запускает к потолку булавы размером в полсебя, Волчек часто воображал, как этот человек тянет младенцев за ножки в поисках уродца, чрезмерно гибкого ребенка с неестественно податливыми связками. Почти коллега, что же за мир гадкий.

Аккуратно подал в окошко карточку, аккуратно забрал кэш; редкое ощущение живых бумажек в пальцах, скоро начислять на комм станет безопасней даже здесь, в России, даже в подпольных залах: человек с купюрами выглядит подозрительно – с какой стати? где взял? Впрочем, в России еще любят бумажные деньги. Ох, как любят деньги в России, хоть бумажные, хоть электронные, хоть синие – нигде их так не любят, кажется Волчеку иногда. Под голой стенкой, дрожь в руках уняв, засунуть кэш в карман поглубже, прислониться, отдохнуть; еще есть дельце тут, еще один тут мальчик должен подойти. Всегда мерещится мне в этом мерзком клубе, что надо мной опять шумит Манежка и ходят девочки на морфных каблуках – высоких пяточках смешных – и цокают набойки вьетов. Вот кто благословляет, верно, запрет на профессиональный спорт как «разжигающий межнациональную роль». За эти годы им, небось, столько наотстегивали лихие хозяева подпольных рингов здесь, и там, и тут, что хорошо бы забить на все, скосить себе глаза и тоже в эту братию податься – поземочкой свистеть по Красной площади, ветерком ходить по чужим карманам. Мне часто кажется, что чутким, почти звериным ухом менты, вьетнамцы эти, морфированная за госсчет безжалостная лимита, бие-ные сердца моего улавливают сквозь тысячелетний слой московских почв.

Спокойно, Волчек, спокойно, мистер Сокуп, вон идет к тебе, похоже, тот самый мальчик с широко расставленными дикими глазами; забрать у мальчика набор новых нелегальных московских сетов и тихо, как достойный гражданин, почтенный иностранный яппи, идти к себе, в прекрасный номер гостиницы «Москва», жене сказать по комму приятных пару слов и потом валяться, одновременно выполняя профессиональный долг и исключительно мило проводя время с бионами очень симпатичных натуральных уродцев. Такая новая концепция у Волчекова мудрого начальства – искать природных выродков, сиамских близнецов, гермафродитов, не морфированных, но подлинных, короче – «натуралов», а значит – допускаемых спокойно, по закону, к съемкам в ванили. До сих пор везде и здесь, в России, тоже только на нелегальных сетах такие люди появлялись пред очи сладострастных грешников, готовых дорого заплатить за право смотреть, как двухголовые красотки насилюют какого-нибудь вьета, связавши по рукам и ногам. Таких двуглавых Волчеку, быть может, и не надо: их сеты не пройдут ни по статьям политкорректности, ни по статьям «заботы о хорошем вкусе»; но если телку с бюстом с два арбуза или самца с прибором до колена, то мистер Волчек Сокуп получает свои премиальные плюс процент с прибыли.

Господи, какие с гимнастками выходят фильмы! Их же можно узлами завязывать, в такие ставить позы, что и не снились нашим мудрецам. И все это – в ваниль, в легальный бизнес, потому что девочки все – натуралки. Правда, фильмы с этими девочками начали пропускать по рейтингам AFA только в последний, может, год: до этого считалась неpolitкорректной такая чрезмерная растяжка. Двадцать лет существует AFA, и двадцать лет задыхается легальная порнография в этой удавке – «неpolitкорректно». Впрочем, если бы не AFA, не было бы и легальной порнографии никакой: двадцать лет понадобилось *Adult Freedom Association*, начинавшейся с объединения трех зачуханных порностудий, для того, чтобы добиться легитимации – то есть беспрепятственного, внерейтингового транслирования по телевизору, в кинотеатрах, по коммам – фильмов, соответствующих ими самими созданному и пропиаренному Кодексу AFA. Кодекс AFA стал счастьем и бедой того, что теперь называется «легальной порнографией», «ванилью»: составителям его под всех пришлось лечь, всем жопу вылизать – феминисткам, защитникам прав сексуальных меньшинств, обществу любителей собак, *Amnesty*, *Travel Fox*... Начинали с двух страниц – «непропаганда насилия, расовой или классовой розни, дет-

ской порнографии...», – а сейчас четыре тома занимает Кодекс и все пополняется. Минет по продолжительности должен быть равен куннилингу. Актеру во время оргазма запрещено лаять. Количество представителей каждой расы должно быть одинаковым в любом фильме, произведенном компанией, состоящей в АФА (когда-то еще шутили, что минимальный половой акт в ванильном фильме – групповуха на пятерых; теперь не шутят). С трудом удалось отстоять позу «мужчина сверху». Потом двенадцать лет назад запретили морфов. С мотивировкой, как в незапамятные времена: «Просмотр фильмов такого рода наносит зрителю психологическую травму, создавая у него превратное впечатление о пропорциях и анатомии человеческого тела». А что было делать? Шестьдесят судебных исков в месяц от возмущенных зрителей. Вводить в Кодекс пункт о максимальной допустимой длине морфированного члена? о размере груди? каждый раз спорить с рейтинговой комиссией о том, испугает ли ребенка зооморф с десятью клешнями? устанавливать максимальное количество допустимых клешней?

Какое-то время был такой проект даже, да, попытка сохранить за актерами право на морфированность, но как-то ограничить, что ли, полет фантазии, – однако морфировались все причудливее, бесконечные суды вынимали из АФА ее робкую жадную душу, активисты кидали в окна офисов ассоциации ошметки разодранных бионных сетов и орал «Human sex for human beings!»... И закрылся для морфов путь в «ваниль» навсегда. Компании обливались слезами и увольняли людей. Всех, кто был в штате, приходилось гнать на анализ. Сестричка Волчека, по молодости морфом увеличившая свою очаровательную курносость, вылетела из компании, где провела четыре года, – анализ, знаете, есть анализ. Господи, какой был ад. Индустрия дрожала и разваливалась, акции ванильных компаний упали на семьдесят – семьдесят пять процентов, он, Волчек, помнит, как семнадцатилетним пацаном покупал чилльные сеты прямо в метро – киоски росли на каждом углу! – на них на всех стояли логотипы компаний-членов АФА, еще неделю назад планировавших выпустить эти диски в легальный прокат. Алена просидела три недели, крутя собственные сеты, не моясь, не выходя из дома, рыдая, как обиженный ребенок. Чилли тогда брезговали невыносимо, профессиональные порноактеры обходили нелегальные студии за два квартала, девочка боялась, что ей придется менять профессию. Полгода болталась, не делала ничего. Потом в Праге была эпидемия W-4. Умерли восемь человек. Я даже не понял, как это произошло, два дня – и все, пустая кровать, пугающе легкий гроб, серое лицо Георга во время кремации. Георгины, маленький стеклянный кубик с прахом, очень легкий гроб. Очень легкий гроб, как будто в нем лежала десяти-, одиннадцати-, двенадцатилетняя девочка.

Иди же ближе, волоокий мальчик, так странно почему-то пошатывающийся, так затуманенно глядящий, – что, интересно, за бион на тебе навешен, тебя колотит или кажется издалека? Что ж ты стоишь столбом, поторопись – смотри, все закрутилось, задергалось, всеобщим визгом налилось; перед лицом скакнул какой-то растрепанный японец, взвизгнула неюная мадама, да это вьеты! – черт, им что же, мало дали? – похоже, это был последний вечер подпольного гимнастического ринга в торговом комплексе «Охотный ряд»; кого-то, кажется, уже менты электрошоком пиздят, кому-то два железных пальца вбивают под ребро, еще не старого седого джентльмена валяют вдоль стены по каменному полу каблуками, а мальчика, который шел тебе навстречу, куда-то, сволочи, под мышки волокут. Какое счастье, что в Москве умеют любить гостей богатых иностранных; мурлу поганому, хранящему и вход, и выход, даешь спокойно свой зеленый паспорт, вложив в него развернутую сотню, и мигом паспорт у тебя в руках, и паренек, подняв два фирменных железных пальца, пускает между ними слабую искру: возьмите честь, любимый иностранец, спасибо за поддержку наших сил.

Фух, выбрался. О дивная столица, о свет кремлевских звезд.

Глава 3

Кончается антистатик; хорошо потрясти бутылку, пальчиком по зубцам размазать приснувшую пенку и с довольным вздохом запустить тяжелый гребень натуральной слоновой кости в медную прекрасную волну. На гребне золотые чеканки; дорогой подарок, мамин, на шестидцатилетие еще, когда волосы едва доходили до лодыжек, но уже было не удержать ни лентой, ни заколкой – огромная тяжеловесная грива, из-за которой всегда так надменно вздернут прелестный круглый подбородок. Такую нелегко носить; краса красой, но на пять кило, наверное, эта грива тянет, а как устанешь – кажется, на двадцать или даже на двадцать пять.

Особенная прелесть – подпушка, как у редкого зверька; как долго ни отращивай, но все же вот здесь, у бледного виска и на широком лбу стоят ореолом красного золота короткие и нежные густые волоски – и надо всей огромной копной бесценных рыжих локонов слегка клубится этот золотистый дымок, так часто заставляющий новых знакомых сначала ахать, а потом восхищенно говорить: «Какой прекрасный морф!» И аж бледнеют, цветом становясь вот с этот тяжеленный бабкин гребень, когда услышат – никакого морфа; натуралка, свои-родные эти огненные пряди, в распущенном виде обтекающие хрупкую фигурку, совсем ее скрывающие под собой, как в старых мультиках, и по полу ползущие ей вслед плащом роскошным. Недаром папа вот в такие моменты, как сейчас, входил тихонько в комнату, смотрел на это рыжее сиянье, на сладкое усилье тонких рук, вот так закладывающих прядь за прядь за прядь, и говорил: «А вам желаю, Афелия, чтоб ваша красота была единственной болезнью принца». Вот эта красота – в огромном зеркале сверкает, едва ли не солнечных зайчиков разбрасывает по стенам, специально в нежно-кремовый цвет покрашенным. При романтическом таком и имени, и облике, и взгляде только романтическую и можно было себе избрать профессию – порноактриса, с отличием закончила престижный киноколледж, на выпускном показе так чудно хороша была, так сладостно раскидывала руки и ими, как в бреду, делила волосы на две реки прекрасных, два водопада огненных (вот так; и боком повернуться, чтобы сквозь просвет виднелись в зеркале две крошечных прелестных ягодицы) и ими так страстно обвивала партнера, словно силясь к себе его кудрями Лорелеи навеки привязать, что даже в «Уикли» о ней писали: «Ее готовы мы любить, как сорок тысяч братьев». Вот только всех перехитрила многообещающая дебютантка: не захотела сниматься ни в одной из ста шестидесяти трех компаний-членов AFA, но предпочла легальной и обыденной ванили подпольный бизнес, съемки в брейкерских жестоких чилли – почему?

Да потому, что первому своему мальчику в двенадцать лет Афелия сломала палкой два ребра, прикрутив его таким вот тяжелым золотым шнуром, как этот, сейчас вплетаемый в бесценную косу, за руки к собственной кровати, – и стонущего, слезы роняющего на прикроватный коврик, шмыгающего носом, заставила его лизать ей пятки, угрожая все той же палкой для раздвигания гардин, – пока не кончила, как раньше не кончала даже сама, даже в фантазиях сдирая кожу с этого же мальчика или с других, не менее прелестных сверстников, уже тогда мечтавших в ее прекрасных медных, до полу достигающих локонах увязнуть телом и душой. Определившись тор, садистка, лютый зверь в прекрасной шкурке (четыре пряди вправо, а теперь – четыре влево; кольцо из кос пытается сдержать безумный водопад). Впрочем, любила и когда партнер пожестче и посильнее, не стерпев терзанья напряженных гениталий тонким каблучком, скидывал с себя в раздраз личину sub и так прохаживался по бледному, с веснушками лицу сегодняшней звезды подпольной компании «Глория'с Бэд Чилдрен», что случалось Афелии потом ползти домой, утирая кровь с разбитой губы и становясь с большим трудом на отбитые ремешком розовые пятки.

Как утопает в волосах ладонь; как сладко это... нет, не щекотанье – скольжение, бесовская ласка, сладострастный контакт; как палец вдоль по локону скользит, стремится к

острию – и, наконец, срывается, и, не перенеся разлуки, сам лезет снова в рыжую петлю. Вот так же перед зеркалом стояла Афелия Ковальски в какой-то день, довольно близкий ко дню получения диплома, и думала о том, что, безусловно, она актриса хоть куда, но при ее же очень жестких вкусах она в легальном порно мало чего добьется; хороший вижурал, конечно, можно дать, но на бион запишется – ну, просто слабое девичье возбуждение, ну, легонький оргазм, ну, два, ну, три. Звездой не станешь, да еще сказали сразу: придется волосы обрезать, дорогая, никто и не поверит, что натуралка, да и вообще в те годы – ну, десять лет назад – в легальном порно снимали очень сереньких девиц, смазливеньких, но суперусредненных, чтобы не оскорбить, не дай господь, общественного вкуса, чтоб грудью слишком крупной, пусть и натуральной, случайно феминисток не обидеть, чтоб полнотой излишней не оскорбить ни «Общество защиты людей с высоким весом», ни наоборот – ассоциацию «Лайт-Лайф», отстаивающую права анемиков и аноректиков на легкость тела.

Но эту гриву потерять? Да лучше бы остаться без куска хлеба; с трех лет она вот так, с тяжелым гребнем, по два часа каждый божий день проводит перед зеркалом, перебирая пряди, размеренными, полными истомы движениями нежно проводя по медным, и коричневым, и золотым сверкающим волнам, невыносимо все же возбуждаясь процессом созерцания бликов света на изгибах этих волн – и тем, как тело сладко отзывается на прикосновение волос, и тем, как под прикрытием гривы потихоньку соски твердеют, – сжать их вместе с прядями, сквозь волосы лишь кончики пальцев пропустить, пощипывать набухшие острия грудей, осесть на рыжий, в масть, ковер, зарыться в собственные волосы, в их запахе найти источник буйства и тугим локоном, все ускоряясь, щекотать себя, воображая сцены, из которых никто не выходил живым – включая ее саму.

И так прекрасно тело отзывалось на каждое прикосновение и особенно на эти фантазии, что даже сама мадам Глория была в восторге, впервые просмотрев бион с тяжелой, но совершенно необходимой сценой, случившейся в тот день, когда Афелия пришла к ней наниматься на студию. Конечно же, на студии мадам, занимающейся специально садомазохистским, строго запрещенным чилли, Афелию приняли, распростерши наждачные объятия, но мадам сама сказала милой девочке, еще подвешенной за эти волосы роскошные (потом, вернувшись домой, три часа осматривала в панике – но нет, не повредили вроде ничего, ни пряди, кажется, не выдрали, не обкорнали ни локона) к сырому потолку центральной съемочной площадки: дорогая, я знаю ваши вкусы, но поверьте: при вашей удивительной фактуре, при этих волосах (сухой морфированный палец с пятисантиметровым ногтем легко качнулся в сторону крюков) вам нужно все-таки играть скорее sub, чем dom; за эти волосы (вот эти; ворсинки от ковра налипли, спутались концы, и, кажется, придется их сейчас расчесывать сначала) любому человеку в нашей теме, вы ж понимаете, вас хочется схватить и медленно наматывать косу на локоть, наблюдая, как ваше обдирается лицо о камень пола, – вы слышите? – и Фелли, Афелия Ковальски, молодчина, успела тихо сказать губами «да» прежде, чем сладко потерять сознание.

Глава 4

Еще бы сантиметром левее он ее свалил – и она наверняка могла бы дотянуться до прикроватной тумбы, схватить бокал из-под шампанского или комм и заехать этому огромному подонку по голове; еще бы сантиметром правее – и она могла бы слабой ручкой уцепиться за стул и попытаться этим стулом хоть как-нибудь садануть мерзавца, – но, видно, опыт ему помог, и повалил он ребенка так, что только маленькими кулачками она его колотит по спине, исходя слезами, в мучительном и страшном отвращении задыхаясь под поцелуями (еще и укусить за губы норовит слегка и слизывает слезы – какая гадость, господи, спаси, освободи меня из плена этого громадного тела, такого красивого, как мне казалось, когда он меня в прошлые разы совсем невинно кормил конфетами и подливал морсу, смотрел веселыми глазами, слушал мои девческие бредни про мальчиков и девочек, в которых влюблялась прежде, во втором и третьем классе, и про мою серьезную любовь, которой уже две недели – с самого первого звонка она меня не отпускает). Еще надежда есть, что он своим огромным членом в меня хотя бы не полезет, хотя уже раздел совсем, перехватил мне руки, что-то шепчет, проводит пальцами по пуху золотому в моем паху, ох, нет, пожалуйста, пустите! – внезапно остановился, смотрит:

– Что, страшно?

Только не туда, пожалуйста; только не это.

– Ну-ну.

Рывком сажает на кровати, становится во весь свой взрослый рост.

– Соси получше; если сможешь сделать так, чтобы я кончил тебе в рот, – может, и не стану ебать твою писечку, только посмотрю.

Какое кончил? Дышать же невозможно, душит кашель, слюна мешается со слезами.

– Все ясно.

За загривок; валит на подушку лицом и тут же сверху валится, едва не сплюсчивает ребра, подсовывает руку под живот; пытаюсь вырваться, вцепляюсь ногтями ему в бедро – орет и бьет лицом об край кровати; кровь идет губой, но в тот же миг перестаешь чувствовать и скулю ноющую, и губу, и ободранное колено – какая боль ужасная, он все порвет мне, какой кошмар, подушка душит крики, но не иссушает слез; изо всех сил тычешь языком себя под правый верхний клык и начинаешь считать, закрыв глаза, пытаюсь как-то сладить с этой болью, и с ненавистью, и со страхом, что никто и никогда тебя отсюда не спасет:

– Один, два, три, четыре, пять...

От каждого его толчка становится больнее; что-то хлупает, и ты немедленно решаешь, что это кровь, и в ужасе захлебываешься...

– ...шесть, семь, восемь, девять, десять...

Почему так невыносимо долго? Почему не семь, не десять даже? Неужели это никогда не кончится?

– ...одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

Грохот входной двери, упавшей в коридоре; ну слава богу, что они там делали все это время – цветочки собирали? спали на посту? Одним коротким поворотом руку вырвать из захвата, вывернуться, в шею ударить подлеца большим пальцем, обмякшее тело скинуть с себя – его немедленно подхватят коллеги, скрутят, приведут дубинкой в чувство и заберут в машину. Скатать бион, отдать Камилле: все запечатают и отвезут в пакете с видеозаписью для передачи следствию. В комнате разгром, оставшаяся рядом Кама подает трусы и сарафанчик. Надо сказать, что все-таки промежность болит нещадно: тело двенадцатилетней девочки всегда не слишком хорошо переносит интерактив с мужским здоровым членом, это-то не новость – но с таким увесистым, как у этого гада двухметрового... морфировал он его, что ли? Сука. На маленьких девочек с морфированным хуем в полруки ходить; убить подонка.

Осторожно смазываешь кремом растертую кожу; Кама курит, заполняет протокол, спрашивает сочувственно:

– Ты как?

– А как? Не в первый раз. Все это, Камушек, стоит того; я лежу под каким-нибудь из этих говен и думаю: «И хорошо»; даже мне – понимаешь, мне, взрослой женщине, сама пришла, вот это все – даже мне так больно и так противно, и так, ты понимаешь, стыдно, что вот меня, ребенка, какой-то подонок... И не просто из кустов, сука, выскочил в темноте, а три раза меня в гости приглашал, не трогал пальцем, подкупал, крутился...

В бессилии и отвращении бьешь кулаком по тумбочке; летит на пол бокал из-под шампанского, которым подпаивал (а морф, конечно, всю биохимию взрослого человека сохраняет, выгляди ты хоть двухмесячным младенцем; не дураки; агента полбокалом шипучки с ног не свалить).

– Ты знаешь, – Кама отзывается, не поднимая головы от занесення протокола в комм, – ты знаешь, тебя тут пару дней назад Лепай назвал «Красной Шапочкой».

– Это почему это?

– Ну, говорит, Кшися идет в пасть волку, несет встроенную в зубик сигнальную кнопку; волк ее, естественно, в положенный момент: цап! Отъел левую руку! Кшися сигнал подала – и ждет. Цап! Правую руку – а Кшися ждет, а бригады все нет; цап! – ножку левую! Кшися в три ручья: уууу! Пощади меня, Серый Волк! – а про себя: блядь, да где эти ебаные пидарасы, тоже мне охотники! Волк правую ногу – цап! Тут – бабах! – вваливаемся мы, а Кшися лежит вся в кровище, без ручек, без ножек, и орет детским голосочком: блядисукипидарасы! Вы там что – цветочки собирали? Спали на посту? Да я вас суки старше по з-ванию каждого третьего пидарасы говны мямли я на вас рапорт паскуды бляди куда ведете сучьего волка я с ним щас сама блядь разберусь он мне ножки повыплеживает блядь назад!

– Лучше бы входили быстрее, суки бляди пидарасы, тоже мне охотники.

– В суде не объединное не считается.

Глава 5

«Ради бога, прости меня; этой ночью все было не так, как надо
я пишу тебе уже с работы, глаза болят, и от недосыпа рябит голограмма
прости меня
я обещаю никогда больше не говорить с тобою о Боге
это было нечестно, даже подло
я не думала шантажировать тебя так наивно, я и не смогла в результате – и слава ему, о
котором я не буду говорить с тобой больше
это правда
мне тоже по большому счету все равно, чего он хочет
но не тогда, когда он хочет, чтобы мы были вместе
извини меня
я испортила нам ночь
но просто –
каждый раз, когда ты уезжаешь, я чувствую себя Эвридикой, наблюдающей в муке, как
Орфей спускается в ад, и кричащей ему надсадно: да не лезь же туда! Я же тут, я стою в четырех
шагах, в четырех тысячах километров от тебя; мне не надо, чтобы ты спасал меня из Аида;
просто повернись, перейди по трапу, сядь в самолет, окажись со мною.
понимаешь, мне ничего не нужно, ничего из того, за чем ты едешь в Москву и потом
обратно
мне не нужны деньги, за которые ты так упорно борешься, заставляя меня умирать от
страха
мне не нужно твое геройство
мне не нужно даже, чтобы ты оставался русским, – я все понимаю, что ты говорил вчера,
я все помню
не понимаю на самом деле
но все равно помню
но извини меня, я баба, я навсегда ею останусь; я хочу клекотать над тобой, как наседка,
я хочу провожать тебя в аэропорт, только если ты едешь встречать нашего сына из турпоездки
я хочу сына, наконец
понимаешь?
Лис
послушай
я вчера просто сорвалась
я понимаю, как тебе трудно, – но и мне не слишком легко каждый раз смотреть, как ты
из раскаленного тель-авивского рая должен вываливаться в этот дождь или снег вашей людоедской столицы
я знаю, знаю, нормальный европейский город
я не поэтому
я потому, что Москва все время отгрызает от тебя какие-то ужасные куски, которые я в
каждый твой приезд должна слюной и слезами приклеивать на место
пожалуйста, послушай
сегодня утром я вышла на кухню и увидела баночку из-под йогурта; она лежала на боку,
потому что ее повалила оставленная внутри ложка
ты, как всегда, не выкинул баночку и ложку не убрал
это все, чего я хочу от жизни: каждое утро думать: черт, он опять не выкинул баночку!
ты понимаешь?

если бы ты сказал мне: «Послушай, Яэль. Еще... (тут какой-нибудь срок, я боюсь называть, какой, но какой-нибудь, который я могу пережить) или еще (число, тоже боюсь) поездок – и я остаюсь в Израиле с тем, что успел заработать; все, хватит» – я бы, наверное, сумела взять себя в руки и все это пережить в течение сколько ты там назовешь (только, ради бога, будь милосерден!)

но

я искренне боюсь, что не продержусь долго, не зная, как скоро закончится эта пытка бесконечного к тебе приклеивания и отдирания тебя от себя снова через день, или два, или три от силы и отпускания тебя в Аид

Лис

светлый мой

светлый-светлый

пожалуйста

пожалуйста

а?»

Глава 6

На комме Леночка улыбалась, конечно, и плечиками радостно поводила: приезжай! ждем! ждем! – а от этого стало только противней: не появлялась – сколько? Восемь месяцев со дня рождения, и вдруг появилась – сразу ясно, что ты от них чего-то хочешь. Но ситуация такая – говоришь себе, преодолевая стыд и совесть, – что тут не до китайских церемоний, да и они поймут, конечно. Значит, в восемь.

От тортика заметно пахнет нефтью, дешевый, в «Сэйфвее» купленный кусок какашки, – и от него еще стыдней, но тоже – как бы жест, на самом деле этот тортник никто, как всегда в таких случаях, есть не станет, радостно положат в холодильник и будут там держать, пока не сдохнет. Не просто восемь месяцев ни слуху ни духу – сейчас придется признаваться, что и адрес-то не слишком твердо помнишь, а наугад кружить по этому району бесполезно – совершенно одинаковые типовые блоки, дешевая застройка времен «Пылесоса Джулиани».

Леночка все-таки очень хороша – странная, как единорог, широко расставленные глаза и мягкие припухшие губки эмбриона при пластике не то стриптизерши, не то, наоборот, невинной школьницы, бессовестно дразнящей в тенистом летнем сквере взрослых похотливых дядек. У Рыжего, по-моему, очки становятся все толще и толще с каждым годом; сейчас только, увидев его в прихожей, и понимаешь, что от общего ужаса последних суток забыла даже Ленку спросить: а Рыжий-то будет дома? Как-то уверена была, что будет, – все слишком плохо, чтобы еще и тут судьба тебя так гнусно наколола.

Смешной двуносым чайник, забавный, но ужасно неудобный; Ленка его держит – хочется сказать: «тремя руками», так велико усилие двух ее рук – двумя руками, пытаюсь избежать ожога паром из одного носика, пока через другой в чашку льется кипяток. Совершенно нет сил на светскую беседу.

– Рыжий, скажи мне, пожалуйста, ты до сих пор работаешь в палатке?

Нью-йоркские русские; откуда они такие берутся? Не хотят ассимилироваться, не меняют имен, не ищут нормальной работы – не все, конечно, но вот эта пара и их компания, знаю еще двух или трех. Пишут статьи, читают стихи, рисуют картинки, кормятся какими-то ужасными поденными работами: то рекламными объявлениями для захудалых русских ресторанов, то переводами на тот же русский с китайского инструкций к товарам широкого потребления или рекламных проспектов про туры в Шанхай, то какими-то совсем уж дурными делами, вроде того, как Рыжий торгует порноседами в одной из тысяч нелегальных палаток. Весь день читает книжки и тихонько пишет в комм, на покупателей глядит недобро, но что-нибудь советует обязательно и настойчиво довольно советует – чтобы скорей ушли. Когда сама Вупи еще чувствовала себя ужасной нарушительницей закона, покупая в Бруклине свои первые сеты со звзриками, она спросила Рыжего: слушай, ведь это все запрещено, откуда палатки, откуда сеты, как что происходит? Рыжий тогда пустился в длинные объяснения по поводу законов «серого» порнорынка, но Вупи не дослушала, отвлеклась немедленно и скоро перебила; дура; теперь бы знала больше в десять раз, и, может, не пришлось бы скакать к друзьям, похеренным на восемь месяцев за личными хлопотами, и задавать довольно стыдные вопросы. Ну что ж, вперед.

– Работаю, а что?

А то, что один... ну, малознакомый мальчик, похоже, записал у себя дома наш с ним не очень, как бы это сказать, тривиальный секс. Мы практически, понимаешь, были незнакомы. И сейчас я его как-то не могу найти, ну, может, уехал. А тут шла случайно вдоль палаток и вдруг...

– Увидела свой сет?

Мда. Ленка оборачивается на сто восемьдесят градусов (спасибо, что торт не роняет мне на колени) и со свойственной ей непосредственностью восхищенно говорит:

– Ай-йя!

– Ленка, какое «ай-йя»??? У меня работа! Я менеджер! У нас большая корпорация! У нас клиенты! Лена, ты что, не понимаешь? У меня мама, в конце концов! Да даже если б там была ваниль – она и то была бы против, может быть!

– Господи, Вуп, ну скажи уже, что там?

Блин.

– Короче, Рыжий, скажи мне, что делать? Я в той палатке все скупил, у них четыре копии было, но как мне знать, что он не продал еще в двадцать палаток?

– Никак.

Интересно, а что это я взбесилась? Я что ждала услышать – «Спи спокойно, Вупи, детка. Скупил – ну и все, закончилась история»?

– Мало того, я могу тебя заверить, что этот сет появится не то что в нескольких палатках – даже в той, где ты все скупил, появятся через пару дней новые копии.

– Так, может, я их там и попрошу его со мной связаться, как появится? Мне уже похуй принципы, ты же понимаешь, мне надо выкупить у него свой бион.

Черт!

– Да это же не он им копии привозит! Послушай, дай я объясню; любителей аматюра довольно много, это рынок, так? Но одиночкам на нем делать нечего совершенно, невозможно бегать по палаткам продавать, что нахапал сам, да и не даст тебе никто: там же рынок железный, тебя отпиздят и скажут на чужой кусок роток не разевать. Поэтому все делается так: крупные компании, которые в той или иной теме, например, в теме зооморфов...

Откуда знает??? Знают, значит, друзья; ну ладно, что теперь – кажется, весь Нью-Йорк будет знать уже скоро, не о друзьях забота.

– ...выпускают серии аматорных фильмов; это дешевле, конечно, в пятьдесят раз, чем любая постановка, плюс бион совсем другой, не спутаешь, плюс рынок есть – почему не воспользоваться? Ну, нанимают агентов со всем своим – квартирой, аппаратурой – и по небольшой цене принимают у них отснятые сеты. А распространением, конечно, занимаются сами. Корпоративненько.

О боже.

– Ты с собой принесла?

Да, вот противная коробка; ох, ну и вид тут все же у тебя, сутки не могла заставить себя рассмотреть как следует: пасть приоткрыта, глаза закачены так, что белки видны... аж передергивает, фу. Коза бесстыжая, такой себе раскованной и сексуальной казалась, в теплой водичке валяясь враскоряку с человеком, которого впервые в жизни увидела; свинья.

– Да, есть такая компания, вот логотип: «Скуби Дерт Ду», они, по-моему, из Кэмбрии, там этих компаний штук пятьдесят; точно, впрочем, не знаю. Послушай, Вуп, я тебе сразу скажу: ни звонить им, ни писать письма, ни денег предлагать – нельзя. Они тебе в лучшем случае назовут, пуганой, такую сумму, что только дурно сделается; если еще и не противно им будет руки пачкать, то просто в открытую доить тебя начнут, раз сама подставилась. А в худшем случае может вообще что угодно быть. Я готов с тобой обойти палатки в основных местах, купим то, что там; и если еще где увижу – буду скупать, обещаю; такие сеты не слишком ценятся, месяца через два они его просто снимут с тиражирования, и, дай бог, никто не увидит и не узнает. Просто пронесет. Ты меня слышишь?

Ох, Рыжий, Рыжий; ты явно не понимаешь степени риска; представь себе – ты тратишь жизнь на то, чтобы создать себе уютненькую микросферку: хорошая работа, карьера, сделанная не по везению, но зубами выгрызенная у тех, кто после университета с тобой вместе начал, а теперь кланяется при встрече; квартирka в лучшем виде, что ни месяц – какие-нибудь приятные покупки, отличное здоровье за счет неустанного над ним контроля, приятели как на подбор, такие же красивые и молодые, и будущее в целом положительно вполне отсюда

выглядит – выглядело, выглядело еще всего лишь двое суток назад, до обнаружения ужасного сета в задрипанной лавчонке для низкопробных извращенцев вроде тебя самой. Да если до кого хотя бы случайно – частично – слухом маленьким дойдет известие о существовании этого сета, никто тебя, директора отдела электронной коммерции, не пощадит; полетишь вниз по кроличьей норе, и несухие листья будут внизу, а острые колья, потому что в большой компании всегда найдется тот, кому ты мешаешь, – те, кто под тобой, зубами норовят схватить за пятки, чтобы повыше подтянуться, те, кто выше, сами боятся, что ты их за пятки зубами, – ты ж такая... А что поделаешь? Нормально, в этом-то и есть азарт любого бизнеса; в такую игру играть надо – с оттяжкой, как всегда играла, пока сейчас не выяснила, что контрольный джойстик, может быть, уже в руках кого-нибудь, кто только ищет повод тебя под геймовер подвести.

– Ты меня слышишь, Вуп? Алле?

– Я слышу, Рыжий, слышу.

Глава 7

– Кш! Кш!

Пытаешься стряхнуть ее с себя, краснеешь, выглядывая из-за детского плеча, озираешь смущенно посетителей кафе; кое-кто уже смотрит нехорошо, и бабка в углу вроде как даже остолбенела в праведном возмущении. Каждый раз это проделывает – хоть не встречайся с маленькой заразой в общественных местах, – но вот откинулась, висит на шее, спрыгивает, тонкими ручонками колотит по груди, хохочет и кокетливо облизывает детские пухлые губки после поцелуя, закатывает в комически-развратной манере невинные глазки.

– Ну! Скажи! Я свет твоей жизни? Я огонь твоих чресел? – и, разворачиваясь к маленькому залу пижонского дайнера, нежным, по дуге идущим профессиональным движением выхватывает из-под детской маечки с медвежонком Фуффи удостоверение сержанта полиции: – Морф, двадцать семь лет, полиция.

Надо бы за такие шутки захватить ей по попе как следует, но не поднимается рука; такая сияющая, такая довольная собственным безобидным свинством стоит перед тобой Кшися, что опять сгребашь ее в охапку и прижимаешь к груди – аж косточки цыплячие хрустят.

– Ой, ой, ой! Покалечишь ребенка! Тебе лишь бы тискаться, старый развратник!

Удостоверение официанту под нос:

– Виски.

Казалось, столько лет знакомы; успели давным-давно, еще в раннем студенчестве, и полюбить, и разлюбить, а вот до сих пор – три недели ее не видел – и так соскучился, как будто не видел триста лет.

– Ну?

– Ну?

А на веранде играют джаз, как сорок лет назад; за что люблю «А Нуне» – за эту ностальгическую ноту, за старые настоящие си-ди, за атмосферу золотого времени, начала века, пускай совсем не золотого, на самом деле, но дымкой нежной позолоты, как любое прошлое, подернутого. За соседним столиком семья снимается на комм, потом радостно потрошит коробку чистых бионов, накатывают на себя и даже на крошку лет двух отроду, собираются записать свои ощущения от этого прекрасного вечера – на память, в семейную пыльную коробку с бархатом обитыми ячейками и с приторной витиеватой надписью «Наши дни...» на крышке, чтобы потом годами донимать гостей: «А это мы в Анталии... А это мы в Копенгагене... А это мы тут, у нас, в одном ресторане отмечаем Дженнишкин день рождения...»

– Послушай, я тобой горжусь. Я думаю, если бы меня какой-нибудь подонок изнасиловал вот так, как тебя три дня назад этот говнюк калифорнийский, я бы две недели страдал депрессией и хавал «Прозак плюс».

– А если бы ты знал, что ты вот сейчас перетерпел – и все, закончилось; что ты при этом взрослый человек, специально подготовленный, обученный не только терпеть, но и фиксировать свои ощущения на аппаратуру, и теперь благодаря тебе несколько маленьких девочек – настоящих, а не таких фальшивых Лолиточек, как ты, – могут чувствовать себя в безопасности? Ты бы хавал «Прозак плюс»?

– Вот поэтому я тобой и горжусь. Это же надо в голове держать.

Вдруг делается очень серьезной – и удивительная происходит штука, которую я за эти полтора года – с тех пор, как она пришла в отделение работать и ей сделали «детский» морф, – наблюдал сотню раз, а привыкнуть все не могу: с лица маленькой девочки, прозрачного, без единой складочки, даже глуповатого слегка, на меня глянули тяжело глаза усталой женщины-полицейского.

– Нет, ЭТО не надо в голове держать. Весь способ выжить заключается в том, Зухраб, чтобы в голове этого не держать никогда. Немедленно забывать. Потому что если держать в голове все, что мы тут говорим, ну, знаешь, про долг и ля-ля-ля – то надо держать в голове, что я уже пять раз ложилась ради этого ля-ля-ля под разных подонков, которые меня... а я, ты знаешь, вообще не слишком жалую, когда...

– Послушай, извини; ну, я хотел приятное тебе сказать, наоборот; короче, знай, ты вызываешь у меня чувство, ну, что в мире есть по-настоящему хорошие люди.

Смеется, расслабляется.

– Ну ладно, эдак мы сейчас до пения гимна докатимся; ты лучше расскажи, пожалуйста, как ты живешь?

И я рассказываю долго про первые мои два месяца в отделе по борьбе с чилли.

Надо сказать, что мне довольно страшно: я заканчивал академию не как следователь и не как аналитик, а как командир оперотряда; сам захотел, мне тогда по молодости лет казалось, что если уж идти в полицию, то – как на смертный бой. Наверное, проблема была в том, что я всегда был худшим типом идеалиста – идеалистом, рвущимся не просто родину защищать, но – бросаться под сеймеры. Слава богу, декан меня уговорил уже после диплома отучиться еще год, сменить специализацию, стать, как он твердил, «небезмозглой человекой». Но я все равно год этот делал за два года – не было уже сил сидеть за партой; днем бегал-прыгал со своими мальчиками и девочками за какими-то козлами, грабившими супермаркеты и отели, а вечером заочно возился с историей криминалистики и методами бионного расследования. И вот два месяца назад – прощай, оружие, и здравствуй, кабинет, и здравствуйте, Каэтан Альба, сеньор старший следователь отдела по борьбе с де-юре запрещенной, а де-факто открыто процветающей порнушкой-чилли, то есть со всем, что не попадает под Кодекс АФА, а значит, пропагандирует насилие, неравенство и так далее, и тому подобное. И, конечно, здравствуйте, железный мистер Скиннер, с которым я по малости своей и десяти, пожалуй, слов за это время не сказал, но все равно при каждой встрече в коридоре у меня кровь стынет в жилах при виде этой живой легенды наших сыскных сил. Я в целом счастлив, но, конечно, чувствую себя совсем щенком; привык, что у меня под рукой десяток автоматчиков и я могу в любой момент командовать «огонь!» А тут, ты не поверишь, Кш, я большей частью сижу в прохладной комнатке и пялюсь в экран или навешиваю на себя, прикрутив интенсивность, один другого грязней бионы как бы снаффа – и вся моя работа нынче в том, чтобы классифицировать, отслеживать и запоминать мелькающие темы, лица, тела, морфированные конечности и груди и глаза, предметы обстановки, реакции – составлять картину всего этого подземного царства. И так, родная Кш, неделю за неделей; узнать врага в лицо и это лицо всегда иметь перед глазами, до каждой похотливой морщинки его помнить в ожидании дня, когда наш Скиннер по ему лишь одному понятным тончайшим признакам решит, что пришло время действовать.

– Короче, ты там дохнешь от скуки и целыми днями дронишь на снафф?

Фу! Кшися! Не вопи так, ради бога! Во-первых, тебе всего двенадцать лет – по крайней мере, с виду; а во-вторых, за столиком соседним, например, уже сменились люди, они не видели ни удостоверения твоего, ни заявления твоего не слышали: «Морф, двадцать семь лет, полиция». Дай им поесть спокойно, на них и так уж нет лица.

И ни на что я не дrouch. Тем паче – на работе.

– Прекрасная формулировка, прекрасная, мой дорогой.

Нахалка.

– Если твоя семейная жизнь так же сексуально насыщена, как и твоя профессиональная...

– Кшисяка!

– Молчу, молчу. Скажи только: у Руди все хорошо?

А вот теперь и я молчу. У Руди все хорошо. Работает, осталось всего четыре года ординатуры – и он совсем самостоятельный невропатолог, с деньгами и с профессией, с немалым

талантом, как утверждают его коллеги, с прекрасными перспективами. Красивый. Глаз не отвести. И не отводят, довольно часто. И он, конечно, не отводит глаз в ответ. А я, как маленький мальчик, дрожу, дрожу, деревенской девицей, боюсь смертельно, что в один прекрасный день он, чмокнув меня в щеку, как обычно, уйдет к кому-нибудь до ночи пить чай – и ночевать, – а утром позвонит, что к вечеру появится, – а вечером опять мне позвонит и скажет, что «застрял тут до утра», и в третий раз проявится лишь через двое суток и скажет, что хотел бы заскочить за кое-какими шмотками – «ну, на пару дней тут съезжу с двумя ребятами на этот семинар...» – и... и...

– Все хорошо у Руди.

Смотрит нежно и говорит:

– Послушай, я скажу тебе, можно? Я знаю в целом Руди кое-как, но тебя я гораздо лучше знаю, как облупленного тебя знаю, дорогой; запомни раз и навсегда: от тебя никуда невозможно деться. Тебя нельзя бросить. Тебя нельзя разлюбить. Тебя можно полюбить иначе, чем раньше, да, – но разлюбить нельзя. Вот мне же – не удалось?

И улыбается.

И я совсем не плачу.

Глава 8

Я, Лис, его не приручал. Он сам родился через пять лет после меня и с того самого момента, мама говорит, от меня ни на секунду не отлипал. Ползал за мной, когда я бегал по комнате, таскался следом, когда я ходил в школу, крался за деревьями, когда я бегал на свидания, и всегда чего-нибудь нудно, невыносимо, заунывно требовал: то мою игрушку, то мои моторники, то мой ви-ар, то пять азов, то сто, то пять тысяч для покрытия своего первого букмекерского долга – вот тогда-то, наверное – пять? шесть лет назад? – мне надо было сказать ему: знаешь, дорогой, катился бы ты. Решай свои проблемы сам. Но он смотрел, расставив zenки, и слезы по плохо выбритым помятым щекам текли так горестно, что я не мог не слазить в карман за коммом и не бимнуть ему эти пять тысяч – хотя сумма была равна примерно трети того, что мне удалось отложить в первый год работы.

Самое удивительное – наблюдать, как он немедленно, немедленно веселеет, получив, что ему нужно; он просветляется буквально, озаряется изнутри ангельским сиянием и становится неопишимо прекрасен, остроумен, нежен, мягок в движениях; получение чужих денег вызывает у него эйфорический эффект, как хорошо приторкнутый бион.

При такой фамилии, как у нас с ним, трудно отделаться от клички «Лис»; но при том, что мы оба Лисицыны, Виталик как-то автоматически оказался у нас мамочкиным Маленьким Принцем – а Лисом, соответственно, оказался я. И ладно бы; но в первый раз я понял, какова подлянка, когда этот засранец безо всякого зазрения совести одним махом инвертировал роли сразу не понравившейся мне сентиментальной книжки и жестко заявил в ответ на мои попытки погнать его долой с площадки, на которой мы с ребятами из класса гоняли мяч: «Ты в ответе за тех, кого приручил». Я даже задохнулся от такого хамства – и вот тогда бы мне поколотить его, он, может быть, не только бы меня оставил навсегда в покое, но даже вырос бы, может, человеком, а не сидящим на чужой шее противным слизнем. Но фраза эта, ненавидимая мною впоследствии до дрожи, так парализовала юного меня, что я позволил Виталичке остаться посмотреть, как мы играем, – и потом меня же едва не четвертовали мама с папой, когда этот негодный обормот ввалился с воплями слюнявыми в квартиру, держась за основательно подбитый мячом заплывший глаз.

И так годами; впрочем, что же я. Простите, уважаемый полковник, у вас тут должен быть задержан мой сучий брат, Виталий Лисицын, он у нас немножко дурачок, и я подумал – может, я какой-нибудь уместный штраф... На ваше усмотрение... Не понял, почему? Я думал, он был просто в ненужном месте в неподходящее время... Он, знаете, у нас немножко... Простите???

Боже мой, не верю, я не верю своим ушам. Как этот идиот сумел попасться с полной сумкой чилльных сетов? Во-первых, почему он их не отдал клиенту, а во-вторых, ну ладно, опоздал, как водится за ним, ну, разминулся с этим Волчком на ринге, ну, не нашел его в толпе – но, блядь, когда идет облава, можно ведь хоть на пол бросить, хоть ногой подальше от себя откинуть чертову наполненную сумку – или и это надо было объяснять подробно, или и до этого он сам додуматься не мог? Не верю, я не верю, боже мой, за что мне этот крест...

Простите, уважаемый полковник, но он у нас немножко не того, он в общем дурачок, я думаю, что кто-то ему подкинул в сумку эту мерзость, он, знаете, хороший мальчик, он даже, как вы видите по его номеру, женат, имеет маленькую дочку – словом, быть может, за солидный штраф, какой-нибудь такой, вполне приличный, я мог бы... Извините, он под чем?

Под химией. Я не могу себе представить. Человек с полной сумкой нелегальных сетов (то есть и бионов тоже!), на которых есть все, от «кровавого изнасилования» до «отдыха на пляже втроем» – только выбирай! – предпочитает. Есть. Вещества. Внутрь. Ртом. В себя. Есть. Есть в себя ртом наркотики, настоящие, химические. Химические, по всему миру запрещенные строже, чем изнасилование несовершеннолетних, наркотики мой родной недоумок-брат

ест внутрь, как ели двадцать лет назад. Такого даже срока нет, наверное, у нашей доблестной полиции, на который, по идее, должен сесть человек с полной сумкой грязнейших запрещенных сетов, у которого в крови химические наркотики и еще – услужливо подсказывает мне сунутый полковником в руки протокол задержания – запас этих наркотиков он имеет при себе!

Полковник, я теряюсь. Я уверен, что нашему, простите, дурачку все это подкинули, засунули в карман, насильно в рот впихнули, но интуиция подсказывает мне, что некоторый штраф я должен, конечно, здесь, на месте заплатить, а после обсудить с вашим начальством необходимость штрафа дополнительного, искупающего бесспорную вину Лисицына Виталия в том, что он в такой неподходящий час находился в таком неподходящем месте... Да, прошу вас, конечно, вы скажите, сколько нужно.

Глава 9

– У вас встреча назначена или вы на кастинг?

Немаленькое здание; ей представлялась какая-нибудь подпольная конура, подвал, куда надо спускаться в темноте по отвратительным железным ступенькам, тусклые лампочки и почему-то красный плюш. А тут приличное такое заведение в два этажа, из пластика и белого металла. Подпольщики, понимаешь.

– Мисс?

– Эээ, кастинг, кастинг.

На самом деле совершенно все равно, что соврать секретарше, – выглядит на двадцать, а глаза смотрят с пятидесятилетней высоты, вот этого морфом не изменить, и психотерапией не изменить, и навешиванием на себя бионов с «юной бодростью» не изменить. Пропусти меня внутрь, ты, морфированный цербер, а там я разберусь, встреча у меня или как.

– Вы на который час?

А сейчас который?

– Эээ, на три.

– Фелиция Лалли?

Да хоть Гитара Джонс.

– Да-да.

– По коридору направо, по лестнице налево. Первая дверь.

Куда идти? А это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Но сейчас никакого особого выбора, попадешь, куда повезет. До этого, между прочим, один раз в жизни была на съемочной площадке (а это, безусловно, именно съемочная площадка – камеры, софиты, все дела), в «Диснее», с классом, на экскурсии. Огромный кран катал на длинной шее маленьких человечков, зырящих на нее, Вупи, в объектив; все думала – зачем? Потом решила, что ей лишь кажется, будто смотрят на нее и ее снимают, – так просто целятся, чтоб детям показать, как выглядит на вышке оператор; а оказалось – действительно, «Дисней» в тот день делал фильм про школьные экскурсии на их студию. Через полгода в возбуждении позвонила мамина сестра, сказала, что видела «нашу крошку» по шестому каналу. Вупи так и не удалось увидеть этот фильм; осталась смутная обида, как будто ее использовали и даже не дали наслад...

Включили свет. Одна, кажется, волкус – прочерненные ноздри и серый мохнатый лоб, красивые лапы видны в широких рукавах китайской блузки; маленькие груди, должно быть, тоже с мехом; второй – миксус вроде как мышь, но лицо чистое и уши уголками; словом, нечто мелкое, пушное. Смешно: мелкое-пушное немаленького роста и довольно недюжинной комплекции, а волкус маленькая. Серенькая. Того и гляди, цапнет за бочок.

– Наденьте, пожалуйста, вот это.

Навешиваешь на запястье голубенький бион. Никаких ощущений – значит, записывающий; хороша все-таки у них секьюрити. Теперь надо сказать им что-то такое, отчего они немедленно проведут ее к начальству. После ночи размышлений она остановилась на фразе: «Ваше начальство ждет меня» – если войдет человек нена начальственного вида, и на фразе: «Давайте сразу поговорим о деле» – если войдет человек вида начальственного... Трясет как, господи; сейчас только начинаешь понимать, какая дура, что сюда приперлась; ну что ты скажешь этому самому «начальству»? Казалось ночью, что это прекрасный метод не сидеть сложа руки, хоть что-нибудь, да предпринять, – а ты подумала о том, что это в сущности самоубийство – влезть в черный нелегальный мир, подставиться под идеальный шантаж, рискнуть, возможно, жизнью (а вдруг пришьют, приняв за шпионку или еще чего похуже сделают, чтоб неповадно было соваться в дела такого бизнеса)? Бежать, бежать к чертям; я представляю себе, как там, снаружи, на парковке, стоит моя машина, машина, машинка родная; добраться бы до тебя и

мотать скорей подальше; да кто заметит этот твой дурацкий сет? Да кто тебя вообще узнает на обложке, с такой мордой перекошенной, подумай, а? Да много ли среди твоих знакомых тех, кто покупает чилли, а среди них тех, кто любит зоусов (не знаю, если честно, ни одного!), а среди них тех, кто любит аматюр, а среди них тех, кто сподобится из сотен доступных сетов в этой теме выбрать именно твой? Да шансов ноль! Машина, машинка моя...

Волкус зашла Вупи за спину, и у Вупи сразу появилось неприятное, но самое что ни на есть четкое ощущение, что рыпаться поздно. В следующую секунду теплые – даже сквозь ткань блузки чувствуется – лапы плотно охватили талию, а на шее чужое дыхание сменилось влажным прикосновением языка. В то же время Пушной взял лицо Вупи в сухие ладони и плотно вмазал в губы поцелуй. От неожиданности и ярости перехватило дыхание, Вупи резко дернулась вбок, от чего волкус за спиной, кажется, даже пошатнулась, а Пушной застыл с несколько недоуменным лицом и нелепо приподнятыми руками. Однако объятье на талии не разомкнулось, и Вупи, чувствуя, как в ушах нарастает звон от страха и злости, попыталась каблуком лягнуть назад, садануть волкуса по ноге, но не достала – и тут Пушной, как ей показалось, пожал плечами, и лицо его пластилиново переменилось, в глазах зажглась не то чтобы злость, но довольный и отвратительный охотничий азарт, и в следующую секунду Вупи взвизгнула под звон тяжелой оплеухи – и продолжала визжать, падая на пол от ловкой подсечки сзади под коленки.

Она ударилась левой коленкой и дернулась вперед, но волкус уже держала ее закинута за голову руки железной хваткой, в мягкую кожу запястий впивались когти, Вупи рвалась и извивалась, едва не калеча себе позвоночник, но разведенные бедра были крепко придавлены мохнатыми коленями, Пушной медленно расстегивал ширинку. Вупи заорала еще громче во внезапно проснувшейся детской надежде, что кто-нибудь услышит и спасет; глаза застилали слезы, от отвращения и бессилия она задыхалась, в горле колотилось разрывающееся сердце. Она ухитрилась укусить в губы склонившееся перевернутое лицо сидящей на ее руках волкуса – жуткое, инопланетное, со ртом во лбу и дико поднимающимися и опускающимися нижними веками, – но за вкусом последовала увесистая волчья пощечина, и Вупи захлебнулась плачем, обмякла; захлестнула волна звериного запаха, острые, хоть и маленькие, волчьи клыки мстительно впились ей в рот, и тут низ тела дернуло и разорвало тяжелой болью: Пушной пытался засунуть в нее высвободившийся из мехового кармана член.

Успела подумать: какой ужас, по сухому – но вошел неожиданно глубоко и мягко, и на секунду Вупи даже показалось, что тело предательски отзывается на проникновение, что влажные щеки сжалось податливо и бедра поползли навстречу насилующему, но ненависть немедленно разбила подозрения в куски, и Вупи взвыла и зарычала, как зверь среди зверей, и попыталась вцепиться ногтями в запястья сучки, уже мявшей ее груди под задранной к подбородку блузкой – но волкус сидел как раз на локтевых сгибах, и Вупи оставалось только колотить костяшками сжатых кулаков по полу и плакать, плакать, теряя волю, все сильнее проникаясь мыслью, что все уже произошло и страшную реальность не изменить.

После короткой судороги Пушной обмяк на несколько секунд; потом Вупи почувствовала, как освобождают ее затекшие руки и попыталась подтянуться и сесть, но ее рванули за бедра, нажатием заставили перевернуться на живот и на попытку уползти ответили грубым пинком под ребра и захватом сначала одного запястья, потом другого; до боли резко дернули заломленные руки вверх и так поставили на колени. У нее не хватало сил раскрыть глаза, но терпкий и солоноватый запах узнавался безошибочно – через секунду обвисший член ткнулся ей в губы, она попробовала отдернуть лицо и на мгновение даже ощутила прежнюю ярость, но уже ожидаемая оплеуха немедленно вернула ее в прежнее апатичное состояние, и она покорно раскрыла рот, приняла в него мокрый вялый отросток, начавший медленно двигаться, невыносимо щекоча ей ноздри шерстью кармана. Происходящее вдруг стало ей безразлично, время провисало между движениями тех, кто распоряжался ее телом, она только раскрыла шире рот,

когда член Пушного начал набухать, и напрягла ноющую шею, чтобы головка, проникая глубоко, не вызывала слишком сильных рвотных спазмов. Сквозь боль в нестерпимо ноющих руках Вупи ощущала, что волкус что-то проделывает с ее влагалищем – не то гладит, не то лижет, потом погружает в него пальцы или какой-то другой предмет, – и понимала, что уже довольно долго водит языком по головке члена и осторожно, ритмично движет бедрами, стараясь облегчить проникновение чего бы там ни было сначала внутрь своей вагины, потом – внутрь заднего прохода; ее держали уже совсем не так крепко, как раньше, но сопротивляться не было сил, пропала ярость, и ненависть перестала застилать глаза, и стало даже все равно, скоро ли закончится весь этот ад, – и в целом вообще все стало все равно.

Клацнула, приоткрываясь, дверь; в проеме девочка-белочка, вздрагивают рыжие кисточки:

– Ой, простите, мне сказали – в три... Я подожду, простите! – (Юрк – обратно.)

И дверь закрылась.

Глава 10

Морф Кшисе сделали полтора года назад, через полгода буквально после ее прихода в отдел по борьбе с педофилией и детской порнографией. При природном росте метр сорок два она была идеальным кандидатом на должность агента в таком отделе – и с наслаждением прошла морф, едва окончился испытательный срок. Никогда Кшися не нравилась себе в роли взрослой женщины, никогда; в двенадцать тело было так прекрасно, нежно, чисто и, главное, так изумительно отзывчиво, так страстно в моменты прикосновений, поглаживаний, разглядываний себя в зеркале: слабый пух под мышками, одна грудка уже выступает вперед, а вторая еще совсем детская, трогательные ключицы и ножки мальчика-бегуна... А потом Кшися стремительно перестала нравиться себе; при таком росте постоянно кажется, что ты какая-то грудастая пародия на настоящих женщин, а в двадцать пять, с первыми морщинками у глаз, начинаешь вообще чувствовать себя старой карлицей; невыносимо.

Поэтому еще на втором курсе академии Кшися поставила себе цель: агент отдела по борьбе с порнографией и педофилией, единственный способ сочетать вымечтанный еще в восемнадцать запредельно дорогой «детский» морф с достойной и желанной работой по защите отечества. И шла к цели оставшиеся три с лишним года учебы, как сеймер; собирала все газетные вырезки по теме, не пропустила ни одного подходящего семинара, ни одной лекции заезжего зубра – ненавистника растлителей; диплом писала по сложной, тонко нюансированной теме «Юридические аспекты следствия при подозрении на совращение подростков, приближающихся к возрасту согласия». И уже в первые полгода испытательного срока стала незаменима для любимого отдела – еще в мерзкой «старой», как Кшися называет ее теперь, «шкуре», – потому что оказалась ходячей энциклопедией по случаям совращения малолетних и даже сумела своими советами начальство однажды навести на постоянного клиента, связав жалобы школьницы с очень похожей по деталям историей четырехлетней давности – а в промежутке, оказалось, этот гад имел дело с еще тремя девочками в возрасте от девяти до одиннадцати лет, переезжая из штата в штат.

Честно, трудом и знаниями, заслужила Кшися дорогостоящий морф, хотя начальство буквально умоляло не губить талант, продолжать заниматься следствием вместо того, чтобы в качестве секретного агента подставлять свою крошечную морфированную пизденку всяким негодяям. Умоляли, да зря – не знали, что Кшисе поначалу даже не особо много было дела до бедных маленьких страдалец, но цель была – вернуться в тот единственный облик, который она всегда считала своим. Это уже потом, когда начинаешь лично иметь дело с грязными подонками вроде того, о котором вчера шла речь, учишься их ненавидеть. Вчера, собственно, когда давала показания в суде, в какой-то момент слезы полились из глаз – от ненависти к этому скрючившемуся под взглядами присяжных говну, от жалости к выступавшей до тебя – и тоже рыдавшей – настоящей маленькой девочке, от боли за ее бледного, как стенка, отца, так обнявшего свое дитя на выходе из зала, словно выжать хотел из хрупкого тельца все страшные воспоминания. Когда в деталях описывала процесс изнасилования, невольно вспомнила огромную мохнатую родинку у педа на ключице, передернулась – и аж спиной почувствовала, как передернулись вместе с ней присяжные. Ох.

И тем приятнее Кшисе после такой ужасной, такой трудной работы был разговор с начальством на следующее утро; вызвали не просто так, но прямо в кабинет Самого, перед которым непосредственный Кшисин начальник, не по-полицейски хлыщеватый Дада, стоял по струночке, как пятилетний мальчик перед военным оркестром. Вызвали и доверили такое задание, что у маленькой Кшиси поджилки затряслись от страха – но и гордость в душе зыграла в то же время пьянящей пенистой волной. Осталось лишь дожить до пятницы – а дальше останется лишь выжить, после того как Кшисю подставной введет за ручку в подпольную студию,

где снимают педофилическое чилли; можно бы прихлопнуть гадов уже давно по статье «пропаганда педофилии», посадить кого положено на три-четыре года – но есть данные, что они не только морфов используют для создания богопротивных сетов про изнасилование маленьких мальчиков и девочек, но также для отдельных, особо богатых клиентов периодически делают съемки с настоящими детьми, причем не просто съемки... а это уже, знаете, совсем другая статья. Представить только – заманивают, завлекают, угрожают, а потом... ну ничего себе... кровь стынет в жилах, и вера в человечество могла бы пошатнуться навсегда, когда бы не стояли в тот момент перед тобою в кабинете лучшие люди твоей родной полиции – Дада, и Мерд, и Анна-Аделина, и, безусловно, Сам Великий Скиннер, легенда, вдохновитель всего отдела, только что доверивший тебе, быть может, самое серьезное задание всей твоей жизни, Кшися Лунь.

– Сержант, вы понимаете, насколько опасной будет теперь ваша работа?

– Я понимаю, сэр.

– Я верю в вас, сержант.

Глава 11

Я часто думаю: я – патриот России; я, возможно, больший ее патриот, чем очень многие наши политики, общественные деятели и другие лицензированные обожатели отечества. Я сужу об этом просто по тому факту, что мог давно не жить здесь, не здесь жить: поддаться наконец и голосу Яэль, и голосу собственного сердца – и осесть в Израиле, прекратить мотаться туда-сюда, прекратить дрожать за собственную шкуру каждую секунду, которую я провожу в нашей богоспасаемой, серой, грязной, страшной стране. Но я не могу. Долго, между прочим, объяснял себе, что дело только в деньгах; три года как минимум себе врал, мотаясь с грузом через границу и каждый раз чуть ли не в штаны накладывая от ужаса, – но пока что все обошлось более или менее неплохо.

А вот в последний год – с тех пор как началось у нас с Яэль все то, что началось, – я вынужден был себе признаться, что дела обстоят совсем не так... прозаично, что ли; что дело не только в деньгах – как минимум. Что я, видимо, совершенно не могу выдернуть из себя эту вросшую в меня страшную страну, у которой под европейской тонкой кожей прячется гниющее червивое мясо, разъеденное многовековой дикостью, опричиной в тех или иных ее проявлениях, коррупцией, общей какой-то непреодолимой грязью – всем, что складывается в понятие «свинство». А я, понимая все это, не могу перестать приезжать сюда – в единственное, наверное, цивилизованное государство в мире, где в аэропорту на паспортном контроле тебе. Никто. Никогда. Не. Улыбается. И когда вчера я в письме дал ей, своей голубке, девочке кареглазой, клятву, что отпашу в своем бесчестном деле еще полтора года и навсегда приезжаю к ней, и делаю с ней сына, и еще сына, и дочку, и никогда больше не отрываюсь от нее до самой до смерти, я уже знал, что теперь у меня есть ровно полтора года на то, чтобы убедить себя: я сказал ей правду. Я действительно смогу переехать к ней навсегда.

А этот, значит, тоже патриот, похлеще моего; и главное, из тех патриотов, которых я не выношу на дух: не жил здесь как минимум пять лет, несомненно, имеет МВА, проходя мимо бомжа, тщательно задерживает дыхание и никогда, ни при каких обстоятельствах не спускается в метро. Приехал на родину делать «цивилизованный бизнес» – не остался, да, где-нибудь в ЕУ или в каком-нибудь из АУ, нет, по патриотическим соображениям явился облагодетельствовать своими деловыми знаниями Россию. Окно в Европу прорубить в задней стене деревенского пивного ларька.

– Простите, мне неловко называть вас «Лис», вы по батюшке?.. Окей, окей, пусть «Лис». Понимаете, Лис, я много лет не жил в России. – (Ай-йя! Неужели!) – Я в какой-то мере совсем не русский, вернее, я, конечно, русский, но совершенно не российский человек. – (Как я люблю эти тонкие, лишённые всякой ксенофобии градации.) – Я потерял в определенной мере даже навыки жизни в этой стране. Вы не поверите, но я не могу заставить себя войти в метро ни под каким предлогом – мне душно, жарко, я не могу перестать задерживать дыхание в страхе перед запахом пота, ну, вы знаете, в нашей стране есть такая проблема. – (Сейчас бы взять да и обнюхать себя под мышками.) – Я рад тому, что могу, благодаря некоторым обстоятельствам, ну, вполне по-европейски здесь жить. В определенной мере мне от этого стыдно. – (В определенной мере, мужик, ты становишься симпатичнее мне с каждой фразой.) – И при этом я, к своему изумлению, обнаруживаю в себе самый что ни на есть настоящий патриотизм. Я понимаю, что патриотизм должен быть не таким, а, что ли, небрезгливым, как любовь, когда любимой женщине можно, ну, клизму поставить во время там запора. Я не могу относиться к этой стране так; если заставить меня подойти к ней с клизмой, мне станет дурно, да, я отдаю себе отчет. Но я странным образом при этом совершенно не готов воспринимать ее как бессмысленное грязное существо. Я и в Принстоне чувствовал, и сейчас чувствую – просто интуитивно, – что у этой страны огромный потенциал во всем практически – и при этом огромная

же, исторически смоделированная зажатость, неспособность и неготовность в полной мере этот потенциал реализовать. Я, вы поймите, совершенно не считаю, что могу быть пассионарием и таким образом перевернуть сознание своего народа. Я вообще по натуре лидер совсем другого типа. Но я могу дать поворот хоть какой-то части отечественной индустрии, просто в результате сочетания моей, ну, глубокой личной веры в здешних людей и, простите, элементарных профессиональных навыков, делового опыта, всего такого. Вы понимаете? – (Я понимаю.) – Я долго думал – что? Что именно? Изучал все вполне серьезно, искал. И вот, понимаете, я подхожу к главному: я думаю, Россия может очень многого достичь на рынке порноиндустрии. – (А сейчас?..) – Ну, сейчас же мы фактически сырьевой придаток к Израилю; вы сами, в силу ваших, простыми словами, профессиональных занятий знаете, как на самом деле все обстоит с Россией. Здесь, мы понимаем, ничего не продюсируют, не снимают, не записывают самостоятельные бионы – ну, две-три компании записывают, конечно, продюсируют, да, но какие у них тиражи? – так, все на местном рынке пропадает. Что у России? Дешевые копировальные мощности. Весь мир здесь делает самую тупую работу – за гроши тиражируют готовые сеты. Это просто стыдно. Ведь у нас же прекрасно все, все же есть – актеры, режиссеры, аппаратура, нет только, ну, инфраструктуры, людей, которые практически поднимут здесь самостоятельную порноиндустрию, просто вот с нуля. А я – могу. Я знаю, что могу. Я вижу, где капитал, где люди, где все ходы. Я совершенно...

– Дорогой господин Завьялов, это очень интересно, но мне через двенадцать часов и шесть минут нужно улетать. Вы не могли бы рассказать мне как можно более сжато, почему вы попросили Щ со мной связаться?

– Ох, простите, ради бога, я немедленно перехожу... как, извините вы его назвали?

– Щ. Неважно. Григория.

– Да-да. Дорогой Лис, у меня к вам совершенно легальная просьба: отвезите, пожалуйста, вот эти два десятка ванильных сетов вашим израильским друзьям-дистрибьюторам. Их спродюсировал я, это фактически на мои личные деньги сделано; мне надо просто, ну, чтобы их посмотрели, может, сказали пару слов – хорошо, плохо, есть ли потенциал, я даже не говорю – если бы кто-то пожелал купить и принять к распространению... Понимаете, я очень искренне, глубоко верю, что в России можно...

– Сколько я получаю за эту маленькую услугу?

– Пять сотен.

– Тысяча.

Глава 12

«Трясутся поджилки» – это, видимо, когда вот так вздрагивает и мелко трепещет что-то вдоль всего живота, от подреберья до лобка; видимо, это когда под жилками на запястьях мелко колотится нерв, которого там не должно и быть вообще; видимо, это когда рука, комкающая платье, чтобы заткнуть им кривую чемоданью пасть, вдруг начинает вибрировать от локтя к кисти так, что приходится схватиться за руку другой рукой, левую руку правой руке протянуть и переплести их пальцами, чтобы дрожь унялась, – но в результате только того и добиваешься, что тряска передается по пальцам от правой руки к левой руке, к локтю, к плечу, к губам, к векам, ресницам, и вот уже в каждой капле слез отражается пережитый ужас и снесенный позор, и аптечка падает на ковер, не собрать, потому что с ковра не встать, в руки себя не взять.

Отпуск на весь накопленный срок, чтобы потом, конечно, никогда не вернуться. Об отпуске, разумеется, положено аж за месяц предупреждать, но соврала по комму, мол, мама совсем больна – что, конечно, стало бы правдой, если бы мама узнала про то, как вчера руки заламывали самонадеянной идиотке, били по морде, тискали буфера. Как можно было ожидать, что ты придешь и они начнут говорить с тобой, выслушивать твои условия (или мольбы, что мало сейчас меняет ситуацию), делиться своими взглядами на проблемы продажи сетов, записанных без согласия самонадеянных лопухов, только и заслуживших, что быть проученными – и хорошо запомнить преподанный им урок.

Уменьшиться бы сейчас до ниже пола. Утром говорила соседке: «На месяц, видимо; поливайте – ну, как-нибудь, это неважно... как-нибудь на свое усмотрение поливайте!» – потому что не поворачивался язык говорить сейчас о цветах и вообще о чем-нибудь живом, – потому что ничего живого и не осталось, все выжжено напалмом вчерашнего ужаса. Как нарвалась сама! Как могла сомневаться, что они, конечно, в любой момент ждут прихода таких, с претензиями, с требованием снять с прилавков, отдать назад, возместить ущерб; ждут и отделивают этих наивных кретинов, как вчера отделали тебя, и записывают, как тебя записали вчера (под руки проводили, трясущуюся, к двери, сняли бшон и сказали с садистической легкой оттяжкой, с улыбкой светской и свинской: «Мы с вами свяжемся непременно»). Кажется, ты хотела создать ситуацию, когда тебя не смогут шантажировать тем, таким невинным, таким в сущности эротичным маленьким сетом с чертовым подлым бобром. Мало того, что ты показала, как сильно боишься (чем ты думала? как на такое можно было пойти вообще?), – ты дала им, о, совершенно прекрасный, новый, свежий материал; в глазах начальства, семьи, сотрудников, клиентов, партнеров по биопсихической индустрии он, конечно, создаст тебе красивую репутацию. Краше некуда. Краше в гроб кладут.

Шести часов (шести часов! гордись мною, мама!) хватило на то, чтобы найти работу на другом конце страны; штат Иллинойс, теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног. Потерять в зарплате ровно в два раза, потерять приличную медицинскую страховку, получить почти что в два раза меньше дней отпуска, но снимать какую-нибудь квартирку – хватит, хватит на еду, что же, какое-то время будешь ездить в метро, пока не подберешь себе менее захудалое место. Можно надеяться, что это произойдет очень быстро: этим, например, хватило одного разговора по комму со включенным экраном да резюме с превосходным послужным списком, да демонстрации диплома Гарвардской школы бизнеса. Они были явно рады заполучить меня и явно не понимали, как это им так повезло.

Это, наверное, потому, что они не видели, как существо, похожее на гигантскую мышь, проводило по моим глазам измазанным в сперме хуем, пока волчица двумя пальцами растягивала мне анус и запускала в него язык.

Глава 13

Впечатление такое, что за дверью молча орудует стая горилл; или, еще хуже, что Щ накрыли, – но разгром там точно происходит какого-то совсем уж невообразимого, космического масштаба. На секунду я даже испугался, что когда дверь наконец раскроется, я задохнусь от облака вырвавшейся наружу штукатурки. Или дыма. Или еще чего-нибудь, как в боевиках. Так или иначе, в жизни Щ явно настал черный день; надо было считать до трех и пытаться высадить дверь, если...

Дверь распахнулась, но не облако штукатурки ударило меня по лицу, а какой-то ужасный белый предмет, и следом на меня с диким воплем: «Ай, блядь, стой!» буквально рухнул Щ. Почему-то мой живот начал бешено трепетать и биться под его телом, как если бы наружу пытался выбраться инопланетный урод, словно в старом фильме; в процессе этот урод норовил как можно точнее вписаться какой-то частью тела мне в печень. Если бы Щ хоть на секунду перестал извиваться на мне и отвалил, я бы попытался спастись из этого неопишемого и невообразимого ужаса, но Щ, видимо, совсем сдурел и мял меня, постоянно заходясь то хохотом, то выжимаемыми из хохота комками мата. Наконец он издал короткий победный крик и перекатил через меня свое длинное жилистое тело, так двинув мне при этом по груди, что я задохнулся и закашлялся.

Несколько секунд он сидел в позе человека, страдающего тяжелейшим язвенным приступом, и конвульсивно дергался от хохота. Я выполз и готов был не то ударить его ногой, не то вызвать скорую. Наконец этот балбес разогнулся и показал мне нечто всклокоченное, мечущееся и дергающееся в его крепко сжатых ладонях, как дергался и метался за секунду до этого сам Щ.

– Он... – выдавил из себя мой нежнейше любимый друг, валясь в очередном пароксизме счастья на травяной пол, – он – иххххххх! – съебал!..

Пельмень. Ужасное месиво из белой шерсти, розовых ушей и вусмерть перепуганных глаз, которое, кажется, наградило мою скулу хорошим синяком, – это карликовый кролик по кличке «Пельмень». Я знал Пельменя вот такусеньким, и он, надо сказать, никогда до сегодняшнего дня не отличался буйным нравом – наоборот, был тих, обаятелен, склонен к глубокомысленным размышлениям; много ел, часто дрочил об поилку и периодически позволял друзьям Щ поднимать себя за уши. Последнее упражнение, честно говоря, не доставляло удовольствия никому, кроме самого Щ: Пельмень страдальчески смотрел из-под съехавшего скальпа, держащий его за уши гость чувствовал себя мучителем животных, и только Щ, качая породистым пальцем, спрашивал гостя насупленно и веско:

- А? Теперь ты понимаешь, что такое иметь власть?
- Послушай, отпусти животное, уродец, и дай мне воды.
- Отпусти?! Да он тут только что полквартыры, блин, чуть не снес!
- Чего это с ним, а? С чего его плющит?

Смотрит внимательно, отвечает со вдумчивым кивком:

- На нем мой бион.
- Щ, ты что, охуел?
- Это же круто!
- Это тебе круто! Ты на него посмотри!
- Ну щас снимем. Но ты видел, как он себя вел? Он же себя как человек вел! Он же все обалденно понимал!
- Ты его с ума сведешь!
- Становится очень серьезным, поднимает палец:

– А ты знаешь, что исследования показали, что кролики – самые психически устойчивые существа на земном шаре? Что свести кролика с ума занимает больше времени, чем свести с ума, например, обезьяну? И ты знаешь, почему? – (Эффектная пауза.) – Потому что они тупые!!!

– О господи. Щ, ради бога, сними с кролика бион, мне больно смотреть на его конвульсии. Ты понимаешь, что ему сейчас кажется, будто он прямоходящий и у него при росте восемнадцать сантиметров хуй девятнадцать сантиметров?

– Ну лааадно! Ему кажется, будто у него рост метр восемьдесят и хуй двадцать три сантиметра!

– Щ!

С явной неохотой этот ненормальный начинает искать у извивающегося (с пеной у пасти – если вы можете представить себе пену у кроличьей пасти) животного кнопку биона, шаря в мехе пальцами так энергично, словно он ими могилу роет. Наконец находит кнопку, выхватывает розовый шарик у кролика из-за уха и демонстрирует мне – можно подумать, шарик содержит не запись последнего полового акта Щ и какого-нибудь андроида, а ответы на наиболее важные вопросы мироздания; например, на вопрос о том, почему я уже девять лет так нежно люблю этого психа.

Кролик обмякает у Щ на руках и, кажется, теряет сознание от счастья. Щ несет его в клетку и пытается силой запихнуть в пасть несчастного зверя сосок поилки, но Пельмень пребывает в блаженной отключке и явно не хочет ни воды, ни еды, а только чтобы боженька немедленно и навсегда забрал его на небо. Наконец Щ запирает клетку и поворачивается ко мне с видом человека, совершившего изнурительную, но крайне полезную работу.

– Видал? Он перся! Он смеялся! Ну не смотри ты на меня так! Может, у меня такой «белый кролик»? Ты знаешь, что такое «белый кролик»?

– Маленькое животное с нарушениями пигментации.

– Нееееет! Это у тех, кто много с порнухой возится, есть понятие «белый кролик». Это то, на что у них стоит. Потому что со временем у них ни на что нормальное уже не стоит, а стоит на какого-нибудь белого кролика. Вот у тебя – какой «белый кролик»?

– Послушай, ты, ненормальный, мне сейчас ехать в аэропорт; я к тебе посоветоваться зашел.

– Ой-е, да, ты ж сегодня летишь. Слушай, идем в спальню, я тебе покажу кое-что ну просто улетное. У меня новый андроид.

– Куда еще один?

– Идем-идем.

Стоит у кровати, прислоненная к стене, ужасного вида дура в человеческий рост. Я видел таких только... не знаю, нигде таких не видел. Это какой-то реликт, музейный экспонат. Латекс вместо кожи и нарисованные прямо поверх латекса бессмысленные синие глаза; соски почему-то ярко-оранжевые, а обведенная красным глубокая воронка изображает рот. Ноги у уродицы разведены в стороны и руки тоже; внизу условного живота – какие-то нитки, претендующие на звание лобковых волос. Такое впечатление, что красотка была удушена на нудистском пляже. Причем в последний миг узрела бога да так и осталась лежать – с широко распахнутыми глазами.

Кажется, Щ расстроен, что я молчу. Он явно ждал восторгов.

– Она старинная?

Супер! Я попал в точку. Дорогой другогревает меня по плечу:

– Сечеееешь! Антикварная! Три штуки отдал – вот так, даже не задумываясь. Иди, иди сюда, послушай!

Поворачивает в спине у чудища какой-то рычаг, и оно начинает вибрировать с отвратительным механическим шрррррк. Щ счастлив.

– А? Иди послушай, ну, приложи ухо! – и сам прикладывает ухо к розовому надувному туловищу, сладко закрывает глаза. Мне начинает казаться, что он сам издает шрррррк.

Я не помню уже, когда именно Щ заявил, что лучший секс в мире – это секс с андроидом. До этого у нашего милого друга было много obsessions – кролики, bag-size monsters, гыргай, какие-то водоросли и практически все наиболее невменяемые изводы христианства – от старосатанизма до трогательного школярского бреда «Друзей Распятого». Мы полагали, что антроиды продержатся месяца два или три (за эти два или три месяца Щ, правда, успел бы купить, выебать и продемонстрировать нам десять лучших моделей на всем рынке, плюс написать двадцать статей в жанре новой искренности о любви машин). Но эти восхитительные молчаливые девочки с чуть угловатой походкой, ласковыми глазами, волосами до попы и нежной искусственной кожей, все как одна блондинки вырожденческого вида, в соответствии со вкусами моего дорогого друга, – прижились, задержались в его безумном мире, стали тихими и прекрасными обитателями его прекрасной и тихой квартиры. Я привык, что в последние пару лет, когда я приходил сюда, – чай, легкие эйфобионы, старый джаз или новый лизмо (странная все-таки штука и странные эти ребята, «Спайсу Рору», которые первыми придумали играть по одной ноте, без аккордов) – Щ включал какую-нибудь из куколок в режиме «соц» – «светское присутствие»; куколка делала прелестное, придуманное самим Щ (а может, подсмотренное у той живой девочки, которой, как я знаю – а Щ не знает, не надо ему знать, – уже год как нет в живых и даже в мертвых нет) движение: прикрывала личико высоко поднятой и сильно выставленной вперед рукой, как будто заслонялась от солнца, но глядела из-под руки так кокетливо, что хотелось немедленно погладить ее по голове, как шкодливого, но знающего цену своему обаянию ребенка. Они, эти прелестные автоматы, обычно сидели тихо, иногда кивали в случайном режиме нашим разговорам, иногда как-бы-сглатывали-слюну – прелестная живая статуэтка в небольшой человеческий рост. Мне было странно, что Щ испытывает к ним сексуальное влечение, но постепенно это даже перестало быть темой для шуток; он жил со своими механическими женами дружной патриархальной семьей и, кажется, был совершенно счастлив. Сегодняшнее чудовище выбивалось из всей коллекции; до нее самой старой куклой здесь была выпущенная в Германии двадцать лет назад Агата; у нее в местах суставов еще прощупывались совершенно отчетливо круглые пупсовые шарниры – но все-таки у Агаты была синтетическая, хоть и грубая, кожа и вполне правильное человеческое тело; она совсем не походила на эту надутую хозяйственную перчатку...

– Нет, спасибо, дорогой, я не буду прикладывать ухо.

– Она охуенная! Ты понимаешь, как было плохо с телками в те годы, если они вот такое готовы были ебать? На Пельмене вот был мой бион с ней. Так ты знаешь что? Он сначала грохнулся на спину и дергал жопой – ебался! Ты себе представляешь?

К счастью, нет.

– Ну, – (опять по плечу; спасибо, что не по скуле), – ты как?

– Послушай, у меня после твоего цирка буквально пять минут есть; я прекрасно. То есть хуево. Мне с тобой надо поговорить.

Щ замирает, словно не зная, какое выражение лица тут пристало: «плюнь, все хуйня» или «ой, как ты влип».

– Ну?

– Начать с того, что я ненавижу своего брата. И ты знаешь, за что я его ненавижу? Не за то, что он инфантильный идиот, не за то, что он подставляет меня всю жизнь, не за то, что ему всегда жалко только себя, и жалко до такой степени, что он даже забывает, что другие люди существуют. – (Щ согласно кивает на каждое мое «не за то», словно подтверждая: «Да, да, совсем не за это!») – А ненавижу я его за то, что каждый раз, когда я с ним общаюсь, я становлюсь похож на него. Я выкупаю его у ментов – и что я думаю? Я думаю не о том, что если его не выкупить, он сгниет в тюрьме, – нет, я думаю о том, как же мне не повезло с братом.

Мне жалко себя, понимаешь, да? Я уже почти начал молить бога или там не знаю кого, – (ох, как Щ дернулся на запретное слово!) – чтобы он забрал Виталечку из моей жизни, – ну, совершенно в его же духе желание. Я скулю про себя и терплю, когда плачу за него вьетам, – а хочу, как хотел бы на моем месте Виталечка, дать им навсегда забрать его из моей жизни. Каждый раз, каждый раз, когда я связываюсь с ним, я чувствую себя инфантильным недоумком, которого наебывают на каждом шагу, я чувствую, что все, все, поголовно все – должны мне за то, что я с ним нянчусь! А это же он, он всегда думает, что ему все должны! Ты понимаешь меня?

– Ты знаешь, в АУ-два в прошлом году судили семилетнюю девочку, которая попыталась спустить своего месячного брата в унитаз.

– Щ, ради бога! Он уже не пролезет! Он ростом с меня! И мне не семь лет, я не хочу его в унитаз.

– Суд ее оправдал: она сказала, что думала, будто он соскучился по жизни в водной среде, где провел девять месяцев до рождения.

– Щ, оставь сейчас девочку, пожалуйста. Послушай, так вот: мало того, что этот придурок едва не загубил мне клиента, что он сосет из меня бабки, что он с ума меня сводит, – так он еще, как выяснилось, жрет химию ртом.

– Пиздишь! – Щ сразу оживился.

– Щ, ради бога; я вчера заплатил за него восемьсот азов вьетам.

– Ай-йя? Где берет?

– Говорит, какие-то придурки вроде него, сами из чего-то гонят, из нефти, я не знаю, не понимаю. Я не мог своим ушам поверить. Ебена мать! Если тебя так тошнит от собственных мозгов – да обвешайся с ног до головы бионами с любым дерьмом, хоть трипами, хоть слэмами, и прись! Но хи-ми-ю!

– Послушай, но это же офигенно!

Интересно, на что я надеялся, когда сюда шел?

– Щ, послушай, помолчи секунду; я знаю, ты читал про химию; ты мне скажи, от нее действительно погибают за месяц?

– А ни фигя; ну типа зависит, какую ты жрешь... Они жрут или шприцом колют?

– Жрут.

– А, то, что жрут, – то все фигня, не парься; ну то есть можно обожраться, конечно, но надо ж мозгов не иметь...

– Это, дорогой, ты не знаешь моего Виталичку.

Подходит близко, как если бы нас могли подслушать, и спрашивает сокровенно:

– Слушай, а у них можно мне достать? Я б купил. Ну, то есть любые бабки.

Он меня в гроб сведет.

– Щ, ради всего святого, ну тебе-то на хуя? Ну любые же бионы можно, триповые, больные, серые даже можно достать – но в тело-то зачем???

Внезапно становится серьезен и спокоен, и вот таким я его люблю – когда вдруг становится видно, что на самом деле ему уже тридцать пять, что в профессиональных делах он жесткий, умный, хладнокровный человек (начал возить сеты за год до меня и меня привел, когда скрутило, взяло за горло и впору было подметки жрать), что он очень зрелый, и очень многое понимающий, и очень вменяемый человек – и хорошо, без отвращения к жизни, от этой жизни уставший.

– А вот это, дорогой Лис, я легко тебе объясню. Когда ты надеваешь на себя чужой трип – пусть даже самый яркий и удачный, – ты просто зритель; ты как бы смотришь на то, что вещества высвобождают из чужого мозга; благодаря тому, что это все-таки бион, ты шкуркой чувствуешь то, что чувствовал под трипом реципиент, когда наелся, собственно, химии и для себя или на продажу записывал бион, да? Но все, что ты из этого бионного трипа узнаешь, – ты узнаешь О НЕМ. Об этом человеке. Ты ощущаешь присутствие его демонов. И глазами, не

забывай, ничего не видишь. Только сенсорика, бион есть бион, да? А когда ты сам ее ртом ешь – ты узнаешь О СЕБЕ. Ты свою подкорку видишь, ты заговариваешь своих демонов, ты свои самые сладкие мечты и самые страшные кошмары узнаешь. Это, понимаешь, как разница между «подземельем» в парке аттракционов и тремя днями под руинами Букингемского дворца, как Стrojьев сидел. Или – вот, даже, пожалуй, точнее – это как разница между живым человеком и калькой; с бионом ты носишь чужие ощущения на себе, как с калькой – чужие знания, понимаешь? А ради взгляда внутрь самого себя, а не кого другого, я готов, понимаешь, есть химию. Со всеми рисками и со всем остальным. Потому что бион, дорогой, – это только легкая прогулка по чужим мозгам. А тайных путей надо искать – в своих.

Через десять минут провожал меня до двери и все как-то закрывал ее телом, явно хотел сказать еще что-то, думал.

– Послушай, три вещи. Первая: спроси его для меня. Я хочу купить. Вторая: не парься. Я не думаю, что он обожрется. Они, полагаю, столько в домашних своих условиях просто не нахимичат – ну, по крайней мере, серьезных вещей. А третье – как ты думаешь, Виталик согласится работать?

– Типа?

– У меня есть чувак, который наверняка с ним рад был бы познакомиться.

– Ну?

– Записывать бионы. Раз уж он все равно ест химию внутрь.

Глава 14

Ишарканная ногами тень на полу веранды плотнеет на глазах, а под столами сгущается в шершавые комки. Фонарики качаются ночные, и страшно даже помыслить о том, чтобы встать, спуститься на тротуар, идти домой – добровольно покинуть блаженный круг, очерченный висящей над столом совсем домашней лампой, – радиус проложен тенью от узкой и высокой бутылки, и слабый желтоватый червячок, упавший с ветки, бредет по нему, как по серой широкой тропе, потерянным путником в густую смертную тьму, разъедающую углы скатерти.

– Ну Дэээн, это же нереально! Господь с тобой, я за такое не возьмусь. Ты хоть и коп, а совсем глупый; мы же все-таки не детский саадик и не ванииль, если меня поймают за этим делом, ты думаешь, мне выыговор сделают? Меня же просто излупят! Как мииинимум!

У Дэна приятное лицо, приятные руки, приятный голос – все приятное. Афелии он приходится дядей, хотя младше на год; бабушка очень долго не хотела заводить второго ребенка, а когда собралась наконец, выяснилось, что можно только мальчика. Бабушка была очень расстроена, но решила, что мальчик – это тоже ничего; однако Дэн утверждает, что все детство очень остро ощущал попытки взрастить его совсем сю-сю и яростно сопротивлялся.

Афелии всегда казалось, что именно поэтому и получился из него такой мачо-мэн при общей нежности черт лица, при маленьком в общем-то росте, при совсем крошечных кистях и тонких ступнях. Когда молодой дядюшка снимал очки, Афелия иногда качала головой и говорила: «Добрый-добрый... В жизни, наверное, человека не ударил!» Эта шутка была очень смешна им обоим, еще смешнее, чем другим рассказчикам: все смеялись, потому что Дэн был в целом известен как самый жесткий следователь отдела, как человек, явно способный быть жестоким, хоть и не проявлявший свою жестокость никогда. Однако жестокость эта сочилась из его пальцев, перекачивалась на языке, рассыпалась бликами с оправы узких очков – и Афелия очень ценила эту жестокость, ибо часто, очень часто с наслаждением бывала ее свидетельницей: один раз любящий дядюшка в их играх довел ее до сотрясения мозга, другой раз – фактически выбил из сустава большой палец на левой руке.

Жестокость Дэна была изысканной и утонченной, и с ним Афелия даже помыслить не могла взяться самой за плетку, но только сладко обмякала и тихо подчинялась; в отличие от большинства партнеров своей племянницы, он был превосходным психологом – «инквизитором», говорила Афелия, – и секс с ним сводился не к боли и подвываниям от ударов плетки или ремня, но к сложной и сладкой муке терпения, унижения и ожидания. Однажды они приехали к ней домой после вот такого вечера в кафе, и она еще в подъезде сказала, что очень хочет добраться наконец до туалета. Добраться до туалета Дэн ей не дал: начал уже в лифте медленно расстегивать ее шубку, осторожным движением растянул эластичный шнур, удерживавший водопад волос, и уронил всю эту огненную роскошь ей на спину, медленно изобразил стряхивание невидимой пылинки с племянницыного рукава. Афелия застонала от желания – это была его манера, он мог по полчаса не прикасаться к ее коже, но при этом все время оплетать движениями рук, маневрами, взглядами. В коридоре, не вытерпев муки, она попыталась поцеловать его, даже не рассчитывая на результат, зная, что ее ждет сейчас медленная пытка раздевания, вымаливаний у него поцелуя, возможно, стояния на коленях или подробной демонстрации гениталий и груди, прежде чем он разрешит ей хотя бы взять в рот его палец. Но в этот раз он поцеловал ее немедленно и нежно, и нежно же вел себя в спальне, ласкал ее, как обычный мальчик обычную девочку, с состраданием целовал его же ножом оставленные несколько дней назад у нее на груди порезы, и впервые, кажется, за всю историю их отношений теребил языком ее клитор, переживал оргазм, чтобы повторить снова. Полный мочевого пузырь придавал остроту ощущениям, когда Дэн совершал глубокие и частые фрикции, и Афелия несколько секунд пролежала, блаженствуя, после того, как он кончил, у него на груди и ска-

зала, смеясь: «Еще пару раз так, и мой мир – ваниль навеки!» Дэн посмотрел на нее ласково, достал из-за спины наручники и ловко прихватил ее запястье к изголовью кровати. Она сладко потянулась в предвкушении пытки и попросила:

– В туалет все-таки дай сходить сначала.

Дядя посмотрел на нее молча, потом улыбнулся, потрепал ее весьма ощутимо за щеку и спросил с деланным детским интересом:

– Зачем?

Вернулся он через полтора часа. Прежде чем отпустить Афелию, просунул под нее ладонь, изобразил одобрение:

– Вот молодец, и простыни не надо менять!

Эта фраза долго была у них кодовой.

Сейчас сидели в «Сантони», играл лизмо – одинокая нота падала за одинокой нотой, Фелли создавала у себя на тарелке лилию из креветочных шкурок, втапливая розовые панцири в соусное болотце, Дэн перекачивал между ладонями тяжелый пивной стакан и слушал, почему именно она не может вынести из студии мадам немонтированные копии нескольких последних сетов.

– Да и зачем тебе, в конце концов? Купи вон в палатке и смотри!

– Затем, лапа, что при съемке в кадр попадает то, что потом вырезают, – например лица режиссера и операторов, обстановка площадки, может, даже сама мадам – она же присутствует при съемках?

– Иногда, да.

– Ну вот. Досье на твою дорогую студию немаленькое, пора в нем иллюстрации заводить.

– Ничегооо себе! Откуда досье? Ты хочешь сказать, что у нас в студии агееееент? Кто?

Смотрит, как на идиотку. Говорит медленно и с расстановкой, чем сразу выводит Афелию из себя:

– Фелли, зайчик, у вас на студии нет агента. Зачем мне агент? Я же могу все спросить у тебя, если мне нужно, правда?

Внезапно сделалось холодно в животе, зато комочек сыра, забившийся в сломанный дальний зуб, показался горячим и колючим.

– Послушай, Дэн, я тебе скажу один раз и прямым текстом. Это не шутки и не игрушки. Я и так подозреваю, что у нас все знают, кем мой любимый дядюшка работает. Знают, но, заметь, мне еще глотку не перерезали и глаза не выкололи с тех пор, как тебя перевели в отдел. Я тебе расскажу почему. Потому что мадам – мой друг, реально – друг. Она меня сделала, она помогала мне деньгами, когда надо, она мне слезы вытирала, когда меня бросила Алисон и я так рыдала на съемках, что это даже при нашей специфике нельзя было снимать – никакой эстетики, один бабий вой. И она знает, что, если ты, дорогой дядя, меня попросишь на нее стучать, я откажусь при всей моей к тебе любви. Потому что, прости меня, есть предел, да?

Черт! Аж хрустнули пальцы от такого нежного пожатия, попыталась вырвать руку – и не смогла. Смотрит сквозь очки, господи, какой страшный, первый раз его вижу с таким выражением лица, и как сильно подлинная злость не похожа на смесь азарта и возбуждения, которое мне доводилось видеть во время наших игр. Какой жуткий все-таки, черт.

– А теперь, дорогая, давай-ка я тебе кое-что объясню. Ты, конечно, дура невероятная, совершенная, но даже у твоей глупости, как ты выражаешься, должен быть предел. Пока ты не пошла к ним работать, мы даже не знали, что они есть! Мы не знали, как зовут твою дорогую мадам Глорию, урожденную, как ты сама мне поведала за очень вкусной пиццей, Лириану Бойко, – трогательная история нелюбимой дочки в большой семье, да-да, ты очень ей сочувствовала, как сейчас помню. Мы не знали, где они находятся, пока я не начал за тобой периодически заезжать. Мы не знали их бюджетов, количества работников, смен дистрибьюторов – пока ты сама не начала мне об этом рассказывать! Я никогда, заметь, не тянул тебя за язык, ни-

когда! Я еще пять лет назад пытался дать тебе понять: Фелли, НЕ СТОИТ рассказывать мне, как у тебя дела на работе, – но ты же обижалась! Тебе же казалось, что я не хочу интересоваться твоей жизнью! А я в первую очередь – полицейский! У меня есть долг, и страх за собственную жопу, и свои цели, наконец! И что я должен делать, если ты такая дура, что все время пиздишь следователю отдела по борьбе с нелегальной порнографией о жизни подпольной студии, да еще какой! S&M! Пропаганда насилия! Пропаганда мужского шовинизма! Пропаганда киднеппинга! Пропаганда ограничения свободы! Да ты знаешь, что твоя мадам одной из первых брейкеров была? Что десять компаний вышли пятнадцать лет назад из AFA – внаглую, просто, понимаешь, плюнув полиции в лицо, – ах, свобода искусства, ах, свобода самовыражения! Что, не знала? Думаешь, всегда твоя Бойко была такой свободолобивой? Хрен! Пять лет в AFA, как ты выражаешься в таких случаях, «феминисткам жопу лизала». Рассказывала она тебе это? То-то же. Запомни, дорогая, самая честная женщина – это бывшая блядь, а самая страшная блядь – это бывшая монашка. А твоя мадам, между прочим, в свое время подписывала петицию: «Просим лишить членства в AFA компании, своими фильмами пропагандирующие развратные действия с животными!» Думаешь, она ради свободы творчества ушла? Из жадности она ушла, денег-то в чилли всегда было – как в Чинь-Миньском банке. Да у меня уже досье на нее такое за эти годы – на диск не лезет! Когда время придет – от твоей мадам не останется даже ногтя! А чего ты ждала? Что я буду все забывать, как только ты уходишь, а?

Все креветочные шкурки напоминают вырванные ногти.

– А теперь послушай меня внимательно. Очень. Время придет – и время это приближается. Когда ваших боссов начнут брать и пиздить, а твоих высокоодаренных коллег пускать по делу в качестве соучастников, моей самой сложной задачей будет не раскрутить цепочку как можно длиннее и не вытрясти из мадам признания в производстве снаффа, который она, надо полагать, не производит, а выгородить тебя. И с каждым днем я вижу, как задача эта усложняется. Потому что не далее как три месяца назад ты, моя девочка, снялась в «Праве на воздух», где тебя и эту, как ее, беленькую, с пальцами – Дану, кажется? – медленно удушали. Офигенный бион, кстати, у мальчика, который с тобой снялся, я чуть не кончил, пока смотрел, – но ты понимаешь, под сколько статей это идет? Это же фактически пропаганда убийства, дура! Я уже сейчас вынужден каждый божий день следить, кого планируют за жопу брать; это сегодня у нас все можно, в то время как ничего нельзя, потому что Скиннер занят вынюхиванием снаффа и ни о чем больше не хочет думать; а через полтора года мы снафферов свернем, и вот тогда затрещат ваши свободолобивые мадамы, как вши под ногтем! Ты это понимаешь? Да даже если ты сейчас уволишься и пойдешь в младшей школе пение преподавать, тебя это не спасет, потому что вы успели наворотить такого!..

А еще все креветочные шкурки похожи на кусочки заживо содранной кожи.

– Поэтому, Фелли, послушай. Мне надо делать то, что говорят, – чтобы потом у меня была возможность проявить непослушание и выгораживать тебя, одну из всех; а тебе надо проявить послушание, потому что мне нужны будут веские причины тебя выгораживать. Одно дело – спасти дивной прелести племянницу, которую, конечно, очень жалко, но закон есть закон; а другое дело – освободить, условно говоря, агента за противозаконные действия, совершенные им с целью выполнения задания. Поэтому не усложняй, пожалуйста, ситуацию и будь умницей. Мне нужны свежие сеты – запомни, немонтированные, только что снятые. Скопируй и отдай мне, пожалуйста, не позже пятницы. Ты слышишь?

А еще все креветочные шкурки не смогли защитить своих креветок.

Глава 15

Это самая пижонская страна на земле. Я не могу себе представить цивилизованное государство, где специально будут вставлять в нормальный трамвай на воздушной подушке какую-то мерзкую грохоталку и нормальные сиденья заменять на пластиковые – только ради того, чтобы шикануть «ретро». Мол, у нас такой прогресс технологический, что мы можем позволить себе трясущиеся и грохочущие трамваи на нескольких ветках – в качестве безвкусного аттракциона. И мудака, который сядет в этот трясущийся, все время то падающий, то взлетающий вагон, в котором после пяти минут поездки тебя укачивает до внятных позывов на рвоту, мне страшно себе представить. А между тем этот мудак – я, я.

Лучший способ бороться с дурнотой – это закрыть глаза, и я сижу с закрытыми глазами, пока женский голос объявляет остановки. Мне надо доехать до «Парк А-Яркон» – это еще как минимум пятнадцать минут. За эти пятнадцать минут я наверняка успею забрызгать своим завтраком стоящие напротив огромные говнодавы со встроенным «Ай-Си-Ю» и индикатором состояния батареек. Идиотская клубная выдумка: если в радиусе 200 метров появляется кто-то из твоих знакомых, она орет дурным голосом и высвечивает на мыске его юзернейм. Я вижу эти говнодавы даже сквозь опущенные веки. Они скребут мне мозг. Израиль – это страна победившего хай-бай-пижонства. Если любому ее представителю ткнуть стволом под подбородок со словами «гаджет или жизнь», он умрет, считая, что заключил прекрасную сделку.

Яэль говорит: пойми, это элемент национальной гордости, как ваша, ну, привычка бессмысленно напиваться. Мне смешно от понимания, что наши стереотипы нас самих переживут: «В Москве уже лет двадцать никто не напивается, солнце, это разве что в деревнях». «Ну как ваша манера читать что попало». Здесь техношик – символ национальной принадлежности. С тех пор, как Израиль стал Телемской обителью прогресса, быть патриотом означает впасть себе в лоб часы с зеркально перевернутым циферблатом и превратить в зеркало тыльную сторону левой руки, вживить радио в дальний зуб и заставить комм бегать на тоненьких металлических ножках, по запаху находя своего выебучего хозяина в толпе. Я начинаю думать, что тут у половины страны белый кролик – это шестерни и микрочипы. Как еще объяснить желание этих людей пустить по столице тошнотворный укачивающий трамвай? Или ездить в нем? И на каждой третьей остановке примерно открывать сумки перед солдатами, ищущими бомбы и посматривающими косо на твои ногти и виски – не хочешь ли ты прямо сейчас отправить на тот свет всех, кто не хочет чтить на этом свете единого бога иудейского?

Но все равно – здесь мне каждый раз немедленно начинает казаться, что я в раю... И ты в раю. И ты в раю. И ты в раю. И здесь дом твой, и жена твоя, и пастыри твои, и братья твои, и стадо твое. И пальмы твои, и финики консервированные твои, и неестественное синее небо над головой твоей. И везут тебя на новой колеснице к дому Аведдара Гефенянина, и вагонный телевизор играет пред тобою изо всех сил, с пением, на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. И будет тебе через десять минут вручена полная сумка чилльных порносетов, и не надо тебе будет трястись в метро с чувством, что ты везешь бомбу, и прятать сеты в потайной шкаф между ванной и туалетом, и двадцать раз прослушивать каждый из них щупом в поисках жучка, и даже сквозь сон ощущать, что тебя могут в любую секунду взять за жопу. Ибо в этой стране, текущей молоком, и медом, и азами, любая порнография легальна, и пока ты не пересекаешь границу в обратную сторону, нет для тебя деления порнографии на ваниль и чилли, и нет ни для кого деления прохожих на тебя и законопослушных сынов человеческих.

Бруха ат, Великая израильская депрессия сорок четвертого года, когда воцарился мир между сынами иудейскими и сынами ливийскими, и сирийскими, и иракскими, и прочими смуглыми сынами, и стала задыхаться израильская военная индустрия, и прекратились западные дотации, и великая безработица накрыла собой страну. И встал Янив Эйтан и рек: «Се

есть земля моя и народ мой, и нет в земле моей места старому слову, и нет у сынов Сиона другой доблести, кроме доблести индустриальной. Не могут они тупо слушать слово Божье, как слушали его пять тысяч лет назад, но должны заново прочесть свои книги и сказать себе: вот наш Бог, великий и мудрый, и хочет он, чтобы избранный народ его жил в своей земле, и говорит нам: “И когда опустятся руки, то протечет дом”. Пусть встанут сыны Израилевы и пусть скажут себе: Господь послал нам главную нашу гордость – еврейский ум, и он даровал нам силы создать в еврейском государстве лучший хайтек-байотек в мире, и он хочет, чтобы сейчас ум наш и индустрия наша спасли страну нашу от безработицы, и нищеты, и уныния. Встанем же, сыны Израилевы, и Новый Сион станет Сионом Ветхого Завета, но в новом понимании». И сказали сыны Израилевы: «Ты прав, Янив Эйтан, первый президент нашей страны от партии “Новый Сион”, мы должны перестать думать о букве Ветхого Завета и начать думать о духе его, а дух его горд и изворотлив, как мы». И начали израильские хай-бай-компании брать заказы на очень сложные и не слишком чистые разработки: технологии коррелирования и подделки бионов, тогда еще совсем новеньких, размером с крупный кулак в свернутом состоянии и толщиной с палец в развернутом; методы усиления и ослабления интенсивности передаваемых бионом эмоциональных состояний – а не только базовых ощущений в целях медицинского обследования, для чего бионы, собственно, изначально и создавались; способы бионного воздействия на химию головного мозга... И так много делала израильская хай-бай-индустрия для всемирного рынка чилли-порно, что в 2052 году пришлось кнессету, уже на семьдесят процентов состоящему из новосионцев, принять закон «О полной легализации эротического контента». И превратился Израиль в рай, где самое грязное педофилическое порно (с морфами в качестве детей, конечно, но все равно) можно было купить, не таясь, у кассы в супермаркете, а не выискивать по подпольным привокзальным лавочкам. И деньги потекли в Израиль прозрачной электронной рекой, и одни сравнивали новый Сион с Телемской обителью, а другие – с Амстердамом конца прошлого века, а третьи – с Мексикой конца позапрошлого, а четвертые – с Содомом, и Гоморрой, и с блудницей вавилонскою, но этих проклинателей никто не замечал, потому что когда в человеке говорит страх перед завтрашним голодом, глас Божий не слышен – а именно так все и происходило во времена Великой депрессии. И потому через пятнадцать лет стало все в земле сионской хай-бай-окей. Сытным был дом Аведдара Гефенянина, и тучным было его стадо. И по сей день так.

Авигдор Гефен ждал в тенечке под навесом, патриотически тянул «Маккаби», указательным пальцем скатывал и раскатывал уголок распечатанного с комм «Маарива», делал замечания на полях бессмысленным пижонским приборчиком местного, естественно, производства: пишешь, как ручкой, а буквы на бумаге – как напечатанные и ровненько в строку стоят. Зачем, кто сейчас пользуется бумагой? – но гаджет, гаджет... Небось, только ради этих записочек и распечатывает себе газеты, вместо того чтобы с экрана читать. Рука у него сухая, а лицо лоснится; черноволосый, пунцовогубый, ладный, с золотой цепью на шее поверх галстука и белой рубашки, с маленьким местным талисманом в качестве кулона – бирюзовым в золоте глазом. Не захотел встречаться в офисе, сказал – в парках сейчас так приятно, так мило – да какое мило, плюс сорок! – всего-навсего хотел пообедать, развлечься мной, пока перерыв, не тратить просто так драгоценное время. Чем-то они похожи с Завьяловым, яппи-патриоты, ни шага задаром, ни слова в простоте; спросил: «Как дела у вашей подруги?» – имел в виду «Не собираешься ли ты, дорогой, перестать таскать наши сетки через границу и не планируешь ли осесть в этой благословенной земле, не пора ли нам искать себе другого Харона, готового возить наши болванки в дикую страну с дешевыми копировальными мощностями?» Поверь мне, Авигдор Гефен, не узнаешь ты от меня никакой правды; не о тебе я буду думать, когда придет время выбрать для себя сторону границы.

Акцент у них смешной, жесткий; слово «zhōi» произносят как «жжжжжю», с мягким таким «у»:

– Ну, вы еще не сдались вашим строгим властям?

Прекрасное чувство юмора у этого человека.

Никакого трамвая больше, хватит, налюбовался. В этой стране я сам немедленно попадаю под страшный хай-бай-угар; так недалеко и до ботинок с GPSom. Как страшно все-таки затягивает рай: нет сил представить себе, что послезавтра лететь обратно. А через час не будет сил представить себе, что утром придется оторваться от губ девочки своей, вырваться из постели, ехать к еще одному чуваку забирать болванки. Утешай себя тем, что рай – не эта страна и не этот город, и не дом, ключ от которого ты крутишь сейчас между пальцев, и не женщина в этом доме, и не ночь, ожидающая вас; рай – это тридцать минут, когда такси везет тебя из Тель-Авива в Кфар-Саву, от всего мира – к Яэль.

Глава 16

Хорошо бы котята вместо «да» мурлыкали, а вместо «нет» – мяукали. Еще хорошо бы было, если бы котята могли, например, показать, где болит. Тогда ветеринару можно было бы сообщить, и он захватил бы с собой какие-нибудь нужные вещи, например клизму или там зонд, если это живот, или дефибриллятор, если сердце, или, например, крем для суставов, если это суставы... Господи, какими только мыслями себя не занимаешь в ожидании человека, способного хоть как-то помочь твоей корчащейся от муки кошке! Мыслями о том, что должен привести с собой ветеринар, и мыслями о том, как тебе удалось проморгать начало болезни. О том, что в Нью-Йорке у тебя, кажется, один только холодильник был размером со всю эту спальню. О том, что в этой квартире тебя никогда не оставляет ощущение, будто из пластиковой кровати с синтетической периной в любой момент могут выскочить какие-нибудь гигантские блохи. О кондиционере, который вчера почему-то начал со свистом втягивать в себя воздух и съел таким образом полгардины.

Кажется, Дот, и без того тощая, как все нигерийские кошки, еще похудела за последние сутки и как-то, что ли, поблекла шерстью, рыжие точки на желтом фоне выглядят размазанными и бледными, огромные глаза покраснели, смотрит жалобно, ох, разрывается сердце. Хорошо хоть приехали быстро – кажется, минуты за четыре; но вот тебе доказательство того, что никогда нельзя обращаться в дешевые клиники: на человеке ни халата, ни инструментов, кажется, с собой; комм виден из кармана – и то хорошо, по крайней мере, считает накатанный пятнадцать минут назад на мохнатую спинку бион, скажет, чем Дот мается.

– Мисс Вупи Накамура?

– Да, это я. Пожалуйста, давайте пройдем в спальню, она там.

Застрял, стоит в прихожей.

– Мисс Накамура, я чувствую, что вы кого-то ждали, но, боюсь, не меня. У меня к вам дело. Я из студии «Скуби Дерти Ду».

Самое сильное впечатление при каждом столкновении с этими людьми у меня: все, что ты до сих пор планировала с адской, как казалось тебе, изощренностью, оказывается на поверку наивным рыпаньем. Как, по-твоему, ты могла спрятаться, если они знают твое имя (а они, бесспорно, его знают, еще тогда знали, когда ты к ним пришла). Достаточно подать запрос в налоговое управление от имени какой-нибудь компании: вот, простите, пришла к нам такая-то наниматься, нет ли за ней каких грязных дел? – и тебе сообщают новое место работы. Штат Иллинойс, да. Это тут у нас работает девочка, которая всегда считает себя умнее всех.

Оказывается, за три секунды успела каким-то образом добраться до окна и намертво вцепиться в занавеску. Спрячься, спрячься за занавеску, как малое дитя; еще глазки закрой – и уж тогда точно никто тебя не найдет.

– Мисс Накамура, простите, что я вас напугал. Это совершенно не входило в мои планы.

Можно броситься на него прямо сейчас, попытаться ударить в глаз и проскочить за дверь. В спальне, правда, лежит Дот, и до конца своих дней я буду мучаться мыслью о предательстве. Но иначе – что? Зачем вообще он мог приехать сюда – аж оттуда, припереться из Нью-Йорка в Иллинойс? Что на самом деле входило в его планы? Она никому не говорила ни слова, не ходила в полицию, всем своим поведением дала им понять, что не представляет собой никакой угрозы. Чтобы шантажировать ее, нет нужды лететь через полстраны.

– Мы не могли бы присесть?

– Мисс Накамура, я обязан перед вами извиниться – не от своего имени, но от имени компании. Такое... эээ... насилие не входило в наши планы. Конечно, вы молодец, что не пошли в полицию, – это было бы бессмысленно и бесполезно: когда женщина сама приходит в такое место, как наше, сама идет на съемочную площадку, сама надевает записывающий бион

и потом сама, безо всякого скандала, уходит восвояси – не слишком убедительной выглядит картина преступления. А с другой стороны, нам неловко, что все вышло именно так. И уж, безусловно, мы не хотели причинить вам столько мороки – бегство, потеря работы, эта жалкая, несоразмерная с вашими способностями ставка, о которой нам стало известно...

Ох.

– Впрочем, оправданием нам может служить хотя бы тот факт, что мы потратили, знаете ли, массу сил ради того, чтобы вас разыскать. Мы ведь не знали вашего имени...

Как???

– ...и никогда бы не узнали, если бы наш сотрудник не опознал вас случайно на недавно сделанном аматорном сете.

Даже злости нет – слабый отголосок, прискорбное напоминание о том, как еще месяц назад была готова за себя драться.

– После этого ваш, эээ, друг Адриан...

Кто?

– ...работавший, так сказать, на этом сете с вами...

А.

– ...сумел сообщить нам ваше имя и место вашего с ним знакомства. Дальнейшее было делом техники...

Арчи!

– ...и, поверьте, никто из ваших друзей не знал, зачем именно мы вас разыскиваем; мы сказали им, что улаживаем ваши отношения с так внезапно покинутой корпорацией *АС Neurotica*.

Все раскопали. Все.

– В большой мере, мисс Накамура, вы сами виноваты в прискорбном происшествии на съемочной площадке. Мы поняли, что вы, так сказать, совсем не планировали вступать в сексуальные отношения с нашими, эээ, сотрудниками, только когда стали просматривать полученный бион.

Что?

– Нам было очень неловко, мы даже предъявили к снявшимся, эээ, с вами зоусам определенные претензии. Собственно, то, что они сказали, я повторю вам, мисс Накамура, в качестве извинительной речи. Девушки, приходящие на кастинг, склонны с той или иной долей артистизма изображать множество невероятных вещей: то изголодавшуюся нимфоманку, то королеву в изгнании, то гигантскую бабочку, то маленького ребенка... Изнасилование – простите, мисс Накамура, – изображает каждая третья; многим женщинам кажется, что боссам это придется по вкусу.

Ох...

– Поэтому простите, мисс Накамура, что наши работники не смогли распознать подлинность вашего поведения. Они просто делали свою работу. Вы, надо сказать, показались им исключительно одаренной актрисой.

Нет слов.

– Я сразу должен сказать вам, что ваш аматорный сет с Адрианом, видимо, и приведший вас к нам на студию...

Да.

– ...к сожалению, пройдет все положенные стадии существования аматорного сета на рынке. У нас есть правило: мы никого не шантажируем полученными сетами, но и назад их не возвращаем. Просто потому, что нам это невыгодно. На нас, знаете ли, никогда не подают в суд: уж очень много всякого интимного вылезло бы на свет. А кроме того, сеты тиражируют, делают пиратские копии, перемещают от дистрибьютора к дистрибьютору – у нас практически нет над ними контроля. Простите.

Интересно, какого ответа он ждет?

– Теперь вы понимаете, что в происшедшем у нас на съемочной площадке была большая доля вашей вины. Но не исключено, что все сложилось к лучшему.

Интересно, как?

– Мисс Накамура, мы хотим, чтобы вы у нас снимались.

...

– Я не жду немедленного ответа, но, естественно, хочу изложить вам наше мнение по поводу ваших данных. Мисс Накамура, каждый день к нам на кастинг приходят пять-десять девочек или мальчиков, мечтающих стать звездами чилли. От силу одному из них в месяц мы разрешаем сняться в каком-нибудь сете на подсосе – извините, я имею в виду, в роли третьего плана, девочкой, условно говоря, делающей минет актеру второго плана... Раз в год кто-нибудь из этих девочек-мальчиков оказывается достойным второго шанса. Причин для нашей разборчивости много. Во-первых, у «Скуби» довольно узкая тематика – мы снимаем только сеты с зоусами. Хороший рынок, последние десять лет мы даже не слишком страдаем от конкурентов – но все же рынок маленький. Во-вторых, нам нужно, естественно, чтобы девочка или мальчик были не только сексапильны, и выносливы, и киногоеничны, и биогеничны, – нам нужно, чтобы они давали хороший бион, то есть чтобы их возбуждали зоусы. А вас, мисс Накамура, возбуждают зоусы. Даже если бы у нас на руках не было сета, сделанного Адрианом, нам бы хватило... эээ... словом, второго сета. Мисс Накамура, даже на нем, несмотря на ваше, эээ, состояние и настроение, чувствуется, как запах шерсти ударяет вам в голову.

Глава 17

Лесси, пожалуйста, воздух втяни поглубже, не запишется запах; нет, наклонись к нему и втяни, и еще, пожалуйста, наклонись к камере, вот так, да, не больно? Если больно – надо сразу говорить, зрители не любят обычно, когда больно. Очень хорошо, скривись, скривись посильнее, у тебя первый раз взрослый мужчина, тебе неловко, тебе приятно, но стыдно... Сделай лицом «стыдно» и держи, держи! Выше подними юбку, сама придержи, должно быть видно, что ты держишь сама! Так, теперь попробуй тихонько сама подмахивать, очень осторожно, тебе не слишком приятно, но интересно, перестань кривиться, все, хватит. Возьмись за грудки! Нет, не так, господи, Лесси, у тебя что, до морфа дыни были? Накрой их ладонями просто и потирай! Потирай кругами! Дайте свет на лобковые волосы! Лесси, дальше можешь произвольно, еби его, деточка, и постарайся совсем отключиться, чтобы всем телом, чтобы тебе хорошо было, – только руки в волосы не закидывай, так маленькие не делают, лучше за него держись... Очень хорошо, очень! Лесс, чуть-чуть вправо дай, чтобы камера взяла хуй! Учитель, спину назад, вы что, раздавить свою физкультурницу хотите? Лесс, следи за ощущениями, если неприятно – немедленно что-то менять, не портим запись! Все, в свободный полет! Еще три минуты снимаем – и кат!

Хорошее имя, я сама его выбирала. Получилось, что я по паспорту, а у всех псевдонимы. И еще: только когда живешь под фальшивым именем, понимаешь, как хорошо, когда у тебя редкое имя настоящее. На студии две Уайноны; если бы я была Уайноной, а не Кшисей, я бы дергалась каждые пять минут. Так не любила польскую свою бабу, что подарки, ею принесенные, старалась не брать в руки – все не могла забыть, как мама кричала отцу: «Ты не мой муж, ты ее муж! Неужели ты сам не понимаешь! Тебе с ней спать впору!» И вот же – пригодилось имя, пригодилось польское наследство.

По площадке расставлены четыре набора декораций – «школьный класс» с пустыми, естественно, внутри коробками стационарных коммов и пыльными тач-скринами, которых уже двести лет не касалась рука человека; «девичья спальня», омерзительно фиолетовая и все в плюшевых чи-синах, которых реальные дети уже двадцать лет как не видели; «детская площадка» – плохо закрепленные качели, с которых кто-нибудь грохается при каждой второй съемке, и искусственная трава, и «мотодром» – вернее, закут, где снимают и надевают моторники и где, по странному воображению не то студийников, не то клиентов вечно происходит такое грязенькое действо: юбочки задираются, пальчики нет-нет да и соскальзывают с высоких креплений на что-нибудь более округлое.

Заметь, что последние недели полторы ты обходишься без крема; уже не больно, в принципе, и, кажется, детские легенды про «разработанную пизду» оказываются правдой.

– Аннабел, тебе больно бывает? Мне как-то перестало в последнее время.

– Разработала пизду.

Прекрасно.

– Да нет, серьезно. Ведь было больно сначала.

– Только на студии или вообще?

– Вообще.

– Разработала пизду.

Попробуем закинуть удочку.

– Не представляю себе, неужели настоящая девочка, ну, тоже бы привыкла?

Надо сказать, что сердце падает хорошенько, и на секунду кажется, что спросила с фальшивой интонацией. Пока Аннабел оборачивается, смотрит, разлепляет губы, даже начинает говорить – крутится в голове: вот сейчас спросит: «А зачем тебе?» А зачем тебе? А затем, что я сержант полиции, подсланный к вам сюда агентом, а не маленькая блядь Лесси Тауб, которая

сделала себе детский морф, да так и не сумела найти богатого папочку, и вот – зарабатывает деньги разрабатыванием пизды перед камерами. А сказать: «Да так, интересно!» – у меня уже действительно может не хватить невинной интонации, потому что в горле ком.

– А тебя что, в двенадцать лет большие дяди не ебли?

А тебя, Кшися, что – в двенадцать лет не ебли? Меня, Кшисю, в двенадцать лет не ебли; не в последнюю очередь потому, что в двенадцать лет я встала на колени перед диваном, зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть, и смотрела на красную растертую промежность своей подруги Долли, рыдающей, цепляющейся больно за мое плечо и скулящей: он меня порвал! он мне все порвал!.. Большой, извините, оказалась разница между тринадцатилетним бойфрендом Долли и не знающим стыда сожителем ее матушки. Я, Кшися, хорошо это запомнила – и избегала, избегала, хотя модно было тогда. Да и здешнюю мою ипостась, Лесси Тауб, по личной ее легенде, в двенадцать лет не ебли, Лесси Тауб, по личной ее легенде, прилагавшейся к фальшивому паспорту, начали ебать только в четырнадцать лет («...школьное хобби: пела в хоре; домашнее животное: с 6 до 14 лет такса Джордж; первый сексуальный опыт – 14 лет, сверстник; первый морф – 17 лет, уменьшение груди; родители: Кристина Тауб, Ричард Стивен Тауб, врачи...»). Поэтому Лесси Тауб не знает, что маленькая девочка чувствует при сексе со взрослым мужчиной.

– Нет. Я, знаешь, только поздно и по любви.

Аннабел смеется.

– Ну, говорят, больно. Я, правда, в двенадцать лет тоже не пробовала, хотя модно у нас было – у вас было? – у нас девчонки по взрослым мужикам убивались, считалось – супершик! Но говорили, что больно. Поэтому-то маленькие девочки и не любят, на самом деле, взрослых мужиков; только так, хорохорятся. А мне, кстати, всегда этих мужиков было жалко: ему тоже неприятно, наверное, – если что, тюрьма светит, так мало этого, девчонка еще и хнычет, говорит – больно, больно. А он же не зверь какой, он ее ласково. А она – больно, больно...

– Разрабатывала бы пизду.

От хохота Аннабел давится куском, роняет коробочку с сычуань-тянь, пачкает липким соусом коленки в цветных штанишках. Ну, давай!

– А как же снимают их? Или как раз хотят, чтобы на бионе совсем больно было?

Аннабел утирает слезы и по одному собирает куски курицы обратно в коробку, двумя пальцами каждый держа, как дохлую какую-нибудь пакость, вытирает пальцы о скромный детский топик с отложным воротничком.

– Кого снимают?

– Ну, настоящих. Детское порно.

Смотрит недоуменно.

– Лесс! Окстись! Ты же взрослая девка, в чили попой двигаешь, а говоришь, как будто тебе, ну... – (прыскает), – двенадцать лет! Дорогая, нет такой вещи – детское порно! Детское порно – это мы! Студия *Underage of Innocense* – это детское порно! На наших сетах ведь не пишут, что тебе двадцать семь!

– Так они же все равно знают, что морф!

– Лесси! Но они же про это – за-бы-ва-ют! Я тоже, знаешь, думала, когда смотрела старое порно, вижуалы, ну, ты поняла; я думала – господи! Да какой же вот это – аматюр? У них же даже свет поставлен, и все бабы в одинаковом белье! Я Хави сказала: кто же в это верил? А он мне объяснил – это, говорит, дорогая, и есть порно: человек знает, что постановка, но делает вид, что не знает. Представляет себе, как будто настоящее. Он, говорит, смотрит не нашу с тобой еблю, а ту еблю, которую он воображает, глядя на нашу еблю. В ней тоже мы с тобой, только по-настоящему. Ты теперь, говорит, понимаешь, что для порно значило – бион? Это же счастье было, революция! Первые сеты стоили – по сорок, по пятьдесят азов штука! А просто старый вижуал – пять! А покупали – сеты!

– Чтобы чувствовать, что – по настоящему?

– Да!

– Фу.

– Здрасьте – фу! Нашлась цаца ванильная. Ты не «фу», а понимаешь, почему сейчас трудно актрис искать? Раньше, Хави говорит, брали любую блядь и ставили – лишь бы глаза закатывала и стонала. Говорит, они все сухие были, мужик член мазал, чтоб войти. Потому что – вижурал, дерьмо, фальшивка. Как кино добионное было – дерьмо. И их голливудские актеры почти никто не смогли на бион работать, эпоха сменилась, не было звезд! И с порно то же произошло. Поэтому есть мы.

– Но мы же все равно не настоящие! На бионе же ясно – мне не двенадцать лет, тебе не одиннадцать!

– Ну, знаешь, есть предел. Мы стараемся. Я себя на записи почти всегда, натурально, чувствую, как девочка. Он меня гладит – а я думаю: господи! как же он в меня войдет, такой большой! – и верю почти. Ты не так?

Я не так? Нет, я не так. Я не почти, я совсем; я не могу представить себе, что я взрослая в эти моменты. Это все, чего я хочу, – быть маленькой. Чтобы на меня смотрели, как на маленькую. Чтобы как с маленькой говорили. Чтобы ни за что никогда не отвечать, а быть ребенком. Чтобы взрослым все было виднее. И тело отзывается, поддакивает.

– Ннну... примерно так.

– Ну вот. Было б им где брать настоящее – нас бы с тобой уволили. Ты бы себе сделала деморф, а? Или маленькой бы осталась?

Она действительно, я думаю, ничего не знает. И это плохо, очень. Потому что она жена Хави, потому что если бы Хави делал сеты на сторону, она бы знала. Потому что она дура и не смогла бы врать мне так немедленно и так наивно.

Потому что, кажется, отдел ошибся. Здесь чисто.

Глава 18

Двадцать три биона на левой руке, двадцать два на правой – лесенкой, как кружочки прозрачной колбасы. Двадцать две кнопки на правой руке, двадцать три на левой – полосочкой, как пуговицы на кукольном платье. За два года научился виртуозно класть, вся процедура занимает примерно четыре минуты – от момента надевания на нос темных очков, чтобы не слепило радужное сияние, испускаемое кожей там, где находят один на другой пятнадцать-двадцать прозрачных переливающихся бионов, до момента, когда разобранный на детали крошечный дезактивирующий щуп пылью улетает в унитаз. С этого момента есть тридцать четыре минуты и шестнадцать секунд на то, чтобы пройти регистрацию, таможенную и паспортный контроль – все места, где тебе могут заглянуть в сумку, – добраться до туалета на другом конце аэропорта и скатать двадцать три биона с левой руки и двадцать два – с правой. Опоздать, дорогой Лис, будет крайне неприятно: начнут активироваться раскатанные бионы, и ты почувствуешь себя одновременно маленьким мальчиком, которого насилуют большим вибратором, и извивающейся под электрошокером мазохисткой, и тем, кто держит электрошокер, и морфом с рыбьим хвостом вместо ног, обнимающим под водой маленькую Русалочку, и нежной лижущейся лесбиянкой...

...Уронена сумка. Поднять, отряхнуть. Четыре секунды. Раскалывается голова, черт, ну почему именно сегодня мигрень? Набрать в рот воды из крана, найти таблетки, выдрать из упаковки, засунуть одну в рот (козел, почему нельзя было сделать это до того, как накатал бионы?!) Одна минута восемь секунд.

...Ты, в один миг познавший все наслаждения мира, все испытывший и предавшийся всем негам разврата одновременно, сможешь ли снова вернуться к себе и снова с собою же слиться, себе возратить разум и продолжить свой путь, как обычно? Нет, не сможешь. От неосторожного смещения бионов, «биомиксинга», сходят с ума, а сорок пять бионов-чилли, будь уверен, общими усилиями откроют тебе двери в такой ад, какого не выдывали ни Джеффри Шней, ни «мама биомикса» Рара Годоли...

...Маленькая старушка тихо ругается с девицей за регистрационной стойкой – хочет тащить за собой в самолет этот нереальный гигантский саквояж. Шесть минут четыре секунды. Сбой в системе, твой билет она выплевывает обратно, потом принимает. Пятнадцать секунд. Очередь на паспортном контроле – двенадцать минут двадцать одна секунда...

...Весь аэропорт сделали красивым – круглым, синим, современным, – а рожи все те же. На эскалаторе мерзкая бабка саданула корзиной – корзиной! – в самолет с собою??? В буфете час назад деваха, отпускающая кофеистую бурду, ткнула пальцем в переливающуюся холорекламу: крутится уродливая толстая чашка с дымком пожарища над нею, вокруг наматывает круги липкая на вид плюшка. «Купите большую чашку кофе и получите булочку бесплатно». «Бог с ней, с булочкой; дайте просто кофе мне». «А мы просто не даем, только с булочкой». Но зато взлетная полоса отливает шелком, стены расписаны пагодами и лугами, и к стойкам регистрации багажа спускаются от потолка роскошные холодраконы, навьюченные по самые рога ярким и красивым призрачным багажом. Примерно три раза в месяц я улетаю из Бен-Гуриона-2 в Быково-3. Нет, даже четыре иногда – туда-обратно, туда-обратно. Когда-то меня колотило от адреналина, когда-то даже так сильно меня колотило от адреналина, что я боялся, не забыл ли дезактивировать какой-то из бионов? Мой ли это расколбас от предстоящего нарушения таможенного закона – или у меня под кожей какой-нибудь семнадцатилетний мальчик крадет у своей сестры ее нижнее белье? Теперь я понимаю, что таскание на себе сорока пяти дезактивированных бионов через границу – это худший из рисков, которые мое воображение может себе нарисовать. Я бы предпочел таскание на себе бомбы, готовой взорваться через тридцать четыре минуты и шестнадцать секунд: я бы знал, что просто умру – и все. А вот что

станет с моим мозгом, и сколько я протяну, и в каком кошмаре я протяну те годы, которые протяну, если не успею скатать на себе шарики до истечения тридцати четырех минут и шестнадцати секунд, – этого я не знаю и знать не готов...

...Девочка в военной форме пытается открыть мой паспорт не с той стороны. Восемь секунд...

...Я просто жалею, что когда-то читал ту же (того же?) Годоли и еще Вустера – правда, немножко меньше, – и теперь слишком много знаю о том, чем может закончиться неудачный биомикс. Фотография Годоли, когда его-ее привезли в больницу, – белые от ужаса глаза и руки, судорожно подкинутые к лицу (мочающаяся собака, плюс пилот в падающем самолете, плюс нелегальная иммигрантка, пришедшая наниматься на работу по поддельному резюме) – до сих пор стоит у меня перед глазами. С тех пор как я начал стелкать, я не притрагивался к этим книгам и даже несколько раз замечал, что при мысли о Годоли, Скулхеде или Гаспарове у меня неприятно сводит живот. Как сейчас...

...Она листает паспорт и зовет кого-то. Кто-то не идет. Полторы минуты. Она встает из-за стола и идет куда-то с моим паспортом...

...Меня совершенно не волнует, заметим, могут ли они к чему-нибудь придраться, – меня волнует мысль о том, как скоро девочка вернется. Если она сейчас отдаст мне паспорт и скажет идти разбираться с кем-нибудь, я побегу в туалет, скатаю шарики и пойду разбираться. Если она сейчас просто остановится лишний раз подкрасить глазки... Надо дышать глубже, и тогда пройдет тошнота. Это все от мигрени, от головной боли, от невесты откуда появившихся в последние месяцы головных болей, затяжных головных болей, мигреней...

...Не могли найти штамп о прошлом въезде. Семь минут пятьдесят шесть секунд...

...Что со мной? Я проделываю все это четыре раза в месяц – так почему у меня свинцовые ноги и колотится сердце? Обморок – и они активируются, и я уже не вернусь в сознание – в нынешнее мое сознание – никогда. В прошлый раз мне тоже было тошно, так тошно, но я держался, а в этот раз мне кажется, что я хочу опоздать, я хочу, чтобы все свершилось, потому что мне так трудно, мне так непосильно все это делать, я вожу бионы уже два года с лишним, я измотался, пожалейте меня, отпустите, у меня болят голова и ноги, я уже не чувствую ни азарта, ни запаха денег, ждущих меня по завершении дела, – кажется, я устал, кажется, я старею. Кажется, я старею и становлюсь трусливей, кажется, я слишком много думаю о том, как перестану мотаться и буду с тобой, мой ангел...

...Заняты две кабинки, третья заперта. Две минуты одиннадцать секунд...

...Кажется, мне пора завязывать...

...Кнопка на шестом бионе не срабатывает. Не срабатывает. Не срабатывает. Не срабатывает. Срабатывает...

...Кажется, я даже жалею, что все получилось.

Глава 19

– Алло! Добрый день, мне нужен мистер Бо, он у себя? Вупи Накамура; впрочем, можете включить экран и описать ему мое лицо, он, я думаю, быстро... Мистер Бо, добрый день. Включите, пожалуйста, экран. Добрый день еще раз. Спасибо, я тоже очень рада. – (У него лицо совершенно нормального человека, даже мягкого. Господи, да ему как минимум пятьдесят пять. Какой-то нипповский вид, живо себе представляю, как в начале сороковых он выращивал на себе цветочки и пел под воксер гимны о свободе искусства.) – Иллинойс, спасибо, прекращен, но я бы хотела сразу по делу, простите. Мистер Бо, я до сих пор не верю, что говорю то, что говорю, но я готова попробовать сниматься в вашей студии. У меня есть тому множество причин, ни одну из которых я не склонна в данный момент вам объяснять. – (Главная из них – мне все-таки очень, очень страшно жить... и очень, очень тоскливо.) – Только, ради бога, не ставьте себе в заслугу тонкие намеки на возможность шантажа. Вам удалось безумно меня напугать, это правда; все потому, что я не сразу задумалась о том, как сильно и основательно я на самом деле устала от бизнеса. Но, знаете ли, страх никогда во мне надолго не задерживался. Переваживался в адреналин и ярость. – (Что это стоит у него за спиной? Я почти уверена, что это скелет какого-то животного; какая гадость! И это на студии, где зоусы... Наверное, синтетический. Но все равно – какая гадость! Черные у них там, в Кэмбрии, шуточки, ничего себе.) – Я решила, что если бы вы все-таки попытались послать наши милые сеты моим, скажем, работодателям, я бы плюнула на все и потащила вас в суд, – (и точно проиграла бы, точно; но сейчас – голос не дрогнет, ибо говорит и показывает адреналин), – мало того, меня бы вряд ли уволили, я ценнейший, знаете ли, кадр. Двусмысленная ситуация, да; но с другой стороны – а что плохого в репутации *sexu beast*? – (Все. Клиенты смотрят на тебя так, будто хотят спросить: «Интересно, а с настоящей, скажем, собакой она когда-нибудь?...») – Кроме того, я очень хорошо смотрюсь на этих сетах, а вот вы – не очень; в конце концов, секс в нашей стране ненаказуем, в отличие от нарушения прав личности, распространения и производства нелегальной порнографии, изнасилования и попыток шантажа. Из моей последней фразы вы вполне между тем можете понять, что расклад карт на руках несколько переменялся. – (Интересно, понимает ли он, какой блефовщицей я себя чувствую? Слушает, по крайней мере, без улыбки и терпеливо, не перебивает.) – У меня нет поводов бояться вас, мистер Бо; так сказать, вы всего-навсего колода карт. Но у вас между тем есть поводы бояться меня. Поэтому, возвращаясь к нашей главной теме: я готова сменить карьеру и стать порноактрисой, благо эта профессия ничуть не хуже любой другой. – (Ох, хорошо бы я это почувствовала хоть на пять минут... хоть на три...) – Я даже готова пойти не в приличную и уважаемую ванильную студию, но в ваш притончик – во-первых, потому что, как вы, наверное, заметили, я люблю зоусов и способна в работе с ними давать прекрасный бион; во-вторых, потому что для вас, в силу указанного обстоятельства, я – бесценный алмаз, для ванильной же студии я – еще одна легко возбудимая девочка, таких хватает. А будучи бесценным алмазом и при этом человеком, готовым потащить вас в суд, я намерена сама диктовать условия наших отношений. – (Полжизни за откашляться!) – Итак: я получаю у вас столько же, сколько получала до переезда в Иллинойс, случившегося по вашей милости. Добавьте к чистой сумме моей зарплаты стоимость соцпакета – что-то подсказывает мне, что ваша компания не страхует здоровье, не спонсирует процедуры пролонгирования и не открывает пенсионных фондов своим сотрудникам. – (АС, правда, тоже не спонсировали пролонгирование, каждый месяц двести азов, как с куста, с меня драли за укольчик – три дополнительных недели «возраста активности» каждый раз, два полных года успела зарезервировать себе на будущее, пока из-за вас, сук, не пропустила месяц и в результате четыре недели не потеряла из уже накопленного. Но вы этого не знаете, слава богу.) – Дальше. Я работаю под своим именем – Вупи Накамура. Никаких сценических «Джангл Квин». Если я решила менять карьеру,

я буду гордиться этой карьерой, поверьте мне. – (И тогда, может быть, я тоже себе поверю.) – Третье. Я ни под каким предлогом не делаю морф. Я хочу и буду сниматься с зоусами, да, но сама я искренне желаю остаться вполне гладкокожей женщиной. Это не подлежит обсуждению. В отличие от следующего пункта, который вполне обсуждению подлежит: каким образом мы собираемся промотировать мои фильмы? Я хочу гарантий того, что через полгода половина населения этой страны будет обливаться потом от одного упоминания моего имени.

Глава 20

– Каэтан, мне каждый раз хочется спросить, что ты уронил.

– А мне каждый раз хочется напомнить тебе, что с неверующих на том свете будут живьем сдирать кожу. А это, наверное, больно.

– Если они не собираются снимать это на пленку, их поведение находится вне сферы интересов нашего отдела.

– Ты же араб, в конце концов!

– А ты мексиканец, в конце концов! Я же не требую, чтобы ты ловил бабочек на прокорм Кецал... Кецал-кому-то!

– Ке-цаль-ко-ат-лю! Невежда!

– Мракобес!

Смешно, и я смеюсь. Какой хороший мальчик, и как мне жалко, что не удастся – и не удастся, видно, никогда – его с собою привести к Аллаху. Я думаю, что в вере он был бы таким же, как в работе, – верным, чистым, слегка наивным рыцарем; он был бы прекрасным мусульманином – не то, что его наставник – старый, каждый день молящий Аллаха о прощении и в целом не питающий надежд ни на прощение, ни на вечный рай, ни даже на спокойную кончину, «достойную», как любят говорить мои собратья по вере.

– Садись, пожалуйста, у нас есть минут двадцать, потом мне выезжать.

С грохотом едет ко мне на стуле, с трудом помещает длинные ноги под моим столом. У меня три сета, два принесли, скопировав, агенты, третий я сам купил на улице – показать мальчику разницу, пусть начнет понимать, чем снафф – ну, или, по крайней мере, то, что выдают за снафф и за что мы платим столько, что сказать страшно, отличается от подделки с надписью «100 % REAL!!!», продающейся на каждом углу. Я совершенно не сомневаюсь, что принесенные агентами два сета – голяк, хотя поданы очень грамотно: никакой обложки, нет трейдмарков внутри, нет дат на пленке, ничего нет; господи, твоя воля, сколько же денег у нас уходит на заказы этих невыносимых фальшивок! Агенты заказывают то на той, то на другой студии примерно раз в месяц, ротация таких «клиентов» огромна, по молодости даже я один раз ходил; что просил, не помню уже, но мы тогда были такими наивными зайками... Я попросил, чтобы мне записали изнасилование близнецов, а в последнюю секунду, не выдержав ужаса, выпалил: «Взрослых!» Я сходил с ума тогда от того, что мы реально заказываем людей. Когда мне объясняли, как работает отдел, я бодро поинтересовался: «И как мы отслеживаем съемку заказа?» Скиннер, тогда еще вполне молодой, посмотрел на меня, как на идиота. Я все понял и едва не умер там же, на месте. Правда, он долго успокаивал меня, объяснял, что за восемь лет существования отдела они еще ни разу не вышли на реальный снафф; что всегда дают подделку; что шансы найти студию, на которой тебе сделают настоящую вещь, стремятся к нулю... Я знал, что он помешан на снаффе, только за ним охотится, весь отдел по борьбе с нелегальной порнографией едва ли не на самотек пустил и только со снаффом возится, – но я весь трясся, и по лицу моему видно было, что я готов сейчас, немедленно, пулей вылететь из отдела и больше никогда сюда не возвращаться и в целом, может, больше даже никогда не просыпаться в мире, где полицейский спокойно полицейскому говорит: о, шансов, что по нашему заказу замучают реального ребенка, почти что нет, не стоит волноваться... И Скиннер подошел ко мне тогда, взял за плечи жестко, по-отцовски, усадил на вытертый диван и объяснил мне, что «один за всех» – не принцип дружбы глупых мушкетеров, но принцип, по которому один ребенок расстается с жизнью ради сотни других, которых умучают гады, если мы не выйдем на них как можно скорее... И я все понял, но потом болел от ужаса как минимум неделю – и каждый раз, когда нам приносили очередной заказанный сет, я перед тем, как посмотреть его, накатывал на руку «глубокую апатию» или «рабочий азарт», чтобы не выскочило сердце и не стошнило,

стоит лишь подумать, что эта девочка передо мной действительно обмотана кэпэшкой и кто-то держит палец на пульте управления взрывом.

И когда Зухраб к нам пришел, я долго подготавливал себя (и Зухраба) к большому разговору о том, как мы получаем эти три-четыре сета в месяц, и ждал, что мне придется в какой-то момент взять его за плечи крепко, по-отцовски, и объяснить... Но вовсе не пришлось, и я был, если честно, очень сильно напуган тем, что вот передо мною стоит человек, которого не волнует, «как мы отслеживаем процесс съемки». Какое-то время я думал, что он абсолютное чудо-вище, одержимое карьерным рвением и ничего не различающее сквозь него, и только после пары недель совместной работы догадался: он просто не думает об этом. У него, кажется, элементарно не хватает воображения, он вообще не может себе представить всех этих мальчиков, девочек... То есть он слышит все, что я ему говорю, он понимает головой, но вот ощущения, что это в реальности происходит, нет у него – как у меня нет, когда я смотрю, скажем, кадры трагедии в Пало-Альто. Наверное, это большое счастье. Он такой бешеный рыцарь, азартный и сумасшедший; такой маленький ребенок, который рвется идти на войну, совершенно не понимая, что такое война, а видя только штурм унд дранг, подвиги и героизм, и поэтому ничем не мучается, ничего не боится. Иногда такие маленькие дети вырастают, совершенно не меняясь, и тогда получается наш коллега Дэн Ковальски, которого я почему-то искренне и глубоко... черт, да простыми словами – боюсь. Несмотря на нежность голоса и мягкость взгляда.

– Ау? Ты что – молился сейчас на сон грядущий?

– Я задумался, прости. У нас есть три свежих сета, ты готов?

Берет из коробки бион, пытается засунуть в декодер, я перехватываю его руку.

– Нет, дорогой, ты его на себя наденешь. Во-первых, это экзекьютора, а не жертвы, а во-вторых – что за лютый непрофессионализм?

Морщится, но надевает. Я разрешаю ему прикрутить интенсивность на пятьдесят процентов, и пока он ходит к аппарату (пожалуй, самая дорогая из всех штучек, которыми набиты наши высокотехнологичные кабинеты), тупо смотрю на начинающийся вижуал. Это из Аризоны, агентский; мальчик лет четырнадцати, черноглазый, похоже, с примесью латинской крови, со сросшейся на переносице длинной бровью, страшно, истошно кричит – конвейерная лента по сантиметру вперед дыр-дыр, и ноги мальчика дыр-дыр под электропилу по сантиметру. В лучших традициях снаффа – или псевдоснаффа – в кадре видна рука с пультом управления, то ускоряющая, то замедляющая, то совсем останавливающая движение конвейера. Самое интересное: у мальчика полная эрекция. Самое неинтересное – она же. За спиной Зухраб издает длинный звук «ыыы!» – накатал, значит, бион. Морда перекошена. То-то.

– По чему мы можем определить, что это подделка, Зухи?

– Эрекция?

– Ноль баллов. Эрекция случается.

– Шутишь!

– Нет. Посмотри учебники. Более веские причины, ну?

– Надо на анализ давать.

– Без анализа.

– Тени?

– Слушай, ты что-нибудь знаешь кроме «тени»? Вот сюда посмотри: тут кровь должна быть сплошным болотом, а она тонкой струйкой капает – кап-кап! кап-кап! Потому что эффект капания впечатляет клиента, и вижуалом, и на звуке. Я готов поспорить, что мы еще увидим этого мальчика не раз.

Мы часто видим на псевдоснаффе одних и тех же людей. Клиенты, по более чем понятным причинам, записями не обмениваются, так что такое трюкачество вполне безопасно.

– Но все равно – что надо сделать?

– На анализ.

– Именно.

Второй, тоже агентский, сет – очень качественный, такое вполне может быть реалом: просто двадцатиминутка, женщину затаскивают в подворотню, насилуют, бьют; два биона – ее и одного из мужчин. Это не реал: просто потому, что этого слишком легко добиться с актерами, заказывать смысла нет.

– Почему это не реал, Зухи?

– Потому что это легко сделать с актерами?

– Именно. Но все равно – бионы на анализ.

– А зачем дают, кстати, ее бион? Клиент назвался мазохистом?

– Нам был нужен просто для точности анализа, вот он и попросил. А вообще, знаешь, в каком-то суде недавно дело шло: муж жену мучил, знаешь как? Привязывал к кровати и навешивал бион с такой вот штукой. Жена орет – он любит. Снимет бион, погладит-поцелует и опять навесит.

– Ни хрена себе изобретательность.

– Вот и он так думал. Радовался: никаких следов, и вообще неподсудное дело. А в законе, между прочим, уже три года написано: «Причинение физических страданий, бла-бла, в том числе – с использованием бионных технологий». Так и сел.

– Лучше б бил, срок бы, небось, меньше вышел.

– Небось.

Третий сет, тот, что куплен в лавочке, самый красивый – и самый бесполезный. Его «100 % REAL!!!» заключаются в полутора часах записи, на которой сногшибательную красотку, запертую в подzemелье, против ее воли морфируют в ужасного уродца. Все подzemелье в зеркальных стенах, все зеркальное – пол, потолок, рукомойник. Сюжет старый, как мир, но любители, видно, есть еще – запись свежая. Снимают якобы три месяца по минуте в день. Страдания и все такое – плюс сам видеоряд сказочный просто. На выходе – ужасная уродина; единственный нестандартный трюк – именно уродина, невыносимо толстая тетка с отталкивающим переключенным лицом, а не какой-нибудь косматый монстр, как раньше любили делать. Все, что связано с насильственным морфированием, – всегда подделка. Как и весь чилли в жанре научной фантастики. Это вообще изумительный жанр – клиенту врут, что бывает то и это, и он, развесив уши, капая слюной, спешит стать свидетелем новейших методов убийства и пытки. Три месяца назад была запись – тоже выдавали за снафф – какой-то тетки, у которой в брюхо вделан такой кусок липкой дряни коричневой. К тетке подтаскивают мужика, он вырывается, а они заставляют его дотронуться рукой до этого коричневого – и руку просто растворяет, как кислотой. Тупо, наивно, скучно – но ведь верят! И ладно бы покупали с лотков – заказывают, платят бешеные бабки... Невероятно. Показываю мальчику просто как пример – чтоб знал, с кем дело имеем.

– Все, дорогой. Кино закончилось. Все бионы на анализ, все вижуалы в архив.

Медлит.

– Ну?

– Послушай, я знаю, что Скиннер бы меня за этот вопрос порвал, но вот лично ты – веришь, что снафф существует?

Поразительно все-таки умение детей задавать самые страшные вопросы самым спокойным тоном.

Глава 21

Есть такие люди: ты назначаешь им встречу в самом дорогом ресторане Москвы, ты приходишь в костюме за полторы тысячи азов, ты здороваешься со знакомыми в костюмах за полторы тысячи азов, ты закуливаешь сигару за сорок азов и планируешь угостить поджидаемого сотрапезника обедом за триста азов – а он приходит в потертых джинсах, в фуфаечке, потертой на локтях, – и почему-то чувствует себя совершенно комфортно, в то время как ты, и другие гости, и официанты – все начинают чувствовать себя глупо и неприлично расфуфыренными.

– Простите, мистер Сокуп, если я слишком неофициально одет. Я стараюсь не бывать в таких местах, они какие-то... тупые. И, боюсь, у меня нет ни одного костюма за пятьсот азов, а покупать его ради единственного случая мне показалось неуместным. Честно говоря, я хотел пригласить вас посидеть, скажем, в каких-нибудь «МинОгах» или в одном старом месте на Чистых прудах, вы его не знаете, такой интеллектуальный подвальчик; но желание клиента для меня закон.

Скалит зубы; мне бы молодость его и наглость, мне бы эту непривязанность к работе, и к семье, и к карьере – я бы тоже, может быть, ходил на ужин в «Ункулункулу» в старой фуфаечке и в «мартенсах»; я бы тоже, может, нагло скалил зубы, я бы тоже, может, думал: «Так-то, братец, мы с тобой, смотри, почти что одногодки, только ты такой замученный и важный, только ты за комм хватаешься, как за сердце, только ты в тугих манжетах и в удавке, только ты сегодня платишь за закуски...» И ведь до его прихода я прекрасно себя чувствовал, прелестно; я себе казался молодым и гибким, очень бойким, динамичным и свободным; что же сделал этот свинский оборванец?

– Когда-то, мистер Сокуп, когда я был юным, я тоже работал в одной большой конторе; мой босс, Сержи Блэксмит, говорил мне: «Знаешь, дорогой Лис, если ты зван в пафосное место и не можешь соблюсти dressing code, приходи исключительно, вызываясь underdressed: например, в старой фуфаечке и в рваных джинсах. Лучше всего, кстати, прихватить с собой сквошную ракетку и все извиняться, что не успел заехать домой переодеться. Тогда все будут чувствовать себя идиотами – а ты нет». Я, знаете, следую его совету, как непреложному закону.

И издевается еще. Но надо посмеяться.

Посмеялись.

Ходить в такие места не любит, а страуса все-таки уминает очень бойко; небось, не подадут страуса ни в одних «МинОгах». Действительно, очень вкусный страус. Последний раз я ел страуса в Марокко, в чудовищной поездке, когда у нас не задалось все сразу: сорвались основные встречи, Горкис заболел ветрянкой, а поданный нам обед с отбивными из страуса закончился ни много ни мало дракой нашей операторши с официанткой – мрак какой-то. Впрочем, может, вот это – совсем не страус никакой, а модифицированная какая-нибудь курица. Я не доверяю все-таки московским ресторанам, даже такого уровня. И не люблю этой новомодной африканской кухни. Мне кажется, что я ем падаль; я понимаю, что там сейчас идеальные места для охоты (был грязный анекдот конца сороковых, отец рассказывал: «Может ли грипп убить население целого материка?» «Не может». «Почему?» «Потому что население этого материка уже убил СПИД»), – но мне все равно не по себе, как если бы мы мародерствовали в доме покойного. Я бы даже рад был узнать, что это модифицированная курица. Русские любят субтитуты. Я вообще думаю, что все, что на западе делают из сои, здесь делают из нефти. С другой стороны – нет, в ресторане такого уровня страус, скорее всего, – это страус; а печень крокодила – это печень крокодила; а моя паранойя – это моя паранойя. Москвичи любят показуху: вот, мол, у нас все, как в Европе... Как в Европе! Животные жиры жрут три раза в день. Самоубийцы. Неандертальцы.

- Кстати, Волчек, – можно я буду вас по имени называть? – вы живете в Москве?
- В принципе – нет, но сейчас я здесь уже почти два месяца – работа.
- В Москве, мне кажется, жизнь все-таки поострей, чем в Чехии.

Это потрясающе просто. У москвичей Россия заканчивается Москвой. «Жизнь в Москве поострей, чем в Чехии»! Франция начинается Парижем, Германия начинается Берлином, Англия начиналась Лондоном (а теперь начинается Бирмингемом, а когда Лондон отстроят, по-прежнему будет начинаться Лондоном) – а вот Россия, понимаешь ли, кончается Пятой кольцевой дорогой. Ну или от силы Александровским кольцом.

- Я не люблю острое.
- Вдруг начинает хохотать.
- Да-да, только «соленое».

И успокоительно протягивает руку, видя, как мне делается дурно:

– Оставьте, мой брат – тоже большой поклонник «соленого». Болельщик. Я от него знаю это слово. Его забрали на том ринге, куда он вам нес сеты, – ну, под Охоткой. Кстати, вы, небось, улизнули? Все окей?

Хоть бы понизил голос. Господи, что за дьявольское существо.

- Дорогой Лис, я хотел бы... Называть вас «Лис»?
- Да, пожалуйста.

– Я хотел бы рассказать, что я имел в виду, когда говорил с вами по комму.

– Ради бога. Если позволите, я попрошу еще воды.

– Да-да. Так вот, я вчера встречался с господином Леонидом Завьяловым, вы с ним знакомы, да?

– Да.

– Так вот, неважно, кто нас свел, но господин Завьялов желал показать мне некоторые ванильные сеты местного производства. Он большой патриот, я очень уважаю это в людях нашего поколения.

– Ну, он постарше нас с вами.

– Ну, я по крайней мере считаю себя как раз частью его поколения. Неважно. Так вот. Господин Завьялов искал дистрибьютора в Чехии, и я обещал ему замолвить слово перед своим начальством, но основной темой нашего с ним разговора было не это. Тут я должен сказать, что нахожусь сейчас в России в рамках некоторой длительной командировки – я ищу неморфированных порноактеров, «натуралов», как у вас говорят, нетривиального, так сказать, вида.

– Природных уродцев?

– Гхм. Мне бы не хотелось так выражаться – но, так или иначе, я ищу людей, которых можно снимать в ванильных фильмах, не нарушая Кодекса, и которые своим, эээ, отличием от обычного облика могли бы привлекать дополнительную аудиторию и помогать нашей легальной студии выдерживать конкурентную борьбу с рынком чилли. Господин Завьялов, видимо, смотрит на вещи так же, как мое начальство; он хочет снимать такие фильмы в России, на местной фактуре. За последнюю неделю мы успели сильно продвинуться: моя компания фактически готова к тому, чтобы открыть под руководством Завьялова отделение по таким фильмам здесь, у вас, на местном материале. С одной стороны, вы понимаете, для Завьялова мы – прекрасный канал спонсирования и дистрибуции, ну, это очевидно; нам же совсем не хочется иметь конкурента, а господин Завьялов даже сейчас, когда он еще не слишком, естественно, продвинулся в своих начинаниях, видится нам опасным потенциальным конкурентом. Кроме того, Завьялов – бизнесмен западного типа, нам будет легко с ним работать. И потом, у вас тут все-таки очень все дешево, в первую очередь – актеры.

– О да.

– Ну и, наконец, в России, как бы это сказать... Очень много хорошей фактуры.

– Вы имеете в виду, «в России последние сто лет взрывались атомные реакторы, горели урановые рудники, и воды превращались в кровь, и поэтому по вашим деревням живут такие химеры, что их хоть на Нотр-Дам сажай»?

Да, с ним в корректность не поиграешь.

– Если хотите, Лис, – да, я имею в виду именно это.

– Прекрасно. Окей... Простите, вы как насчет десерта?

– Просто кофе, натуральный, маленький.

– А мне чай с лимоном и, пожалуйста, что у вас есть в качестве десерта?

А он не скромничает, его приятно угощать. Не делает вид, что ему важно экономить мои деньги.

– Вот да, манго-киви. Спасибо. Да, так вот, все прекрасно, но мне хотелось бы знать, где в этой райской картине нужен я? Я, как вы знаете, вожу чилли через границу из России в Израиль и обратно. «Сталкаю», как у нас говорят. А вы собираетесь делать здесь ваниль – все законно, во мне и в моих друзьях нужды нет. Но зачем-то же вы пригласили меня в это заведение и кормите ужином – значит, я не просто вам для чего-то нужен, но вы еще и твердо уверены, что меня придется долго уговаривать. Итак?

Вот засранец. Тычет вилкой в стонущий под каждым его уколом рыже-зеленый полый шар из дрожащего желе, тянет носом нестерпимую вонь дурианового соуса, рисует в нем зубастую улыбающуюся морду с большими ушами – кажется, вылитый я.

– Хорошо, прямым текстом: пока я тут, я хочу поехать по России в поисках, как вы выражаетесь, химер. Мне нужен проводник по тем местам, где были серьезные экологические катастрофы двадцать-тридцать лет назад. Завьялов рекомендовал вас. Вы произвели на него очень сильное впечатление во время последней встречи. Моя фирма одобрила и рейд, и наем проводника. Мы заплатим вам сорок тысяч за пару месяцев работы. По моим прикидкам, вы делаете такую сумму за полгода.

– Вы умничка, Волчек. Ваши прикидки верны. Но я не поеду. Для такой работы я, знаете ли, слишком брезглив.

– То есть?

– Ну, знаете, у меня будет такое чувство, словно мы мародерствуем в доме покойного.

Глава 22

«я жду тебя так – не могу сказать даже, как
написать не могу точно
только ночью, на ухо
может быть
если ты будешь хороший мальчик
шучу
новый проект тут все-таки будет
все в ажиотаже
видимо, не заказы, а нетто разработка
чтобы тебя долго не грузить: есть метод, видимо, делать чистку дешевле
мы, как ты понимаешь, чистим бионы
снимаем лишнюю информацию
простыми словами – подделываем
(кстати – твои, извини, коллеги по индустрии прислали недавно в отдел частных заказов
два биона, как всегда – убирать то, что не входит в сценарий
так все ходили смотреть
сюжет: красная шапочка
натурально, волк откусывает голову вместе с шапкой девочке десяти лет
так там надо монтировать девочке страх лютый – со второго биона брать – и убирать
ощущение, что она вся волчьей слюной перемазана, потому что третий дубль
Лали говорит чуваку, который принес: а шапку он выплевывает? (вижуал они нам не
дали)
а он ей: нет, говорит, жует. Клиенту надо же, чтоб по-настоящему. А нам зоологи ска-
зали – пожевал бы сперва, а потом выплюнул.
Серьезно так все
полдня смеялись)
так вот
вроде есть метод дешево все делать, в три раза дешевле
но надо дорабатывать технологию, сейчас потеря информации выходит огромная, грубо
получается
и вот вроде Авдарьян нашел инвестора
и если будет проект – а это в октябре будет, – то я, видимо, глава его
вот так
как ты чувствуешь себя с начальственными женщинами?
я буду очень начальственной
костюм и все такое
днем
а перед тобой ночью буду девочка опять
а ты мне будешь говорить: “девочка...”
а я буду умирать
а будет это не в октябре, а уже в пятницу
а я уже сейчас умираю
при мысли
а еще три дня
а я...»

Глава 23

В принципе с утра наивно полагала походить по фойе, по просмотровым кабинкам, понакатывать бионы с трейлерами. Врала себе, что интересно, мол, что другие привезли, но на самом деле, конечно, хотела лишний раз взглянуть на собственную морду в «Дикой жизни» (просмотр в третий день, в четыре тридцать, включен, конечно, в конкурсные списки, но шансов мало, объясняет Бо, а в основном – просто чтобы засветиться, чтобы лишний раз увидели актеров, чтобы критики чиркнули пару-тройку рецензий). Я сама тут напоказ, и это, признаемся, безумно приятно – они меня таскают день-деньской на все мероприятия, где можно оказаться в толпе коллег или в хорошем кадре. До Иерусалима, если честно, я не слишком хорошо понимала масштаб заинтересованности Бо с компанией во мне, размер, что ли, ставки, которую они на меня делают. Мне всегда казалось – ну, у нас же узкая область, какой там рынок на зоусов? – и только здесь, когда в самолете добралась наконец до программки фестиваля, обнаружила с несказанным изумлением, что с зоусами той или иной формы – будь они центральной темой, отдельной фишкой или побочными персонажами – едва ли не пятьдесят процентов фестивальных фильмов. Даже думала сначала, что передо мной только часть программы, посвященная зоусам, что не хватает остальных страниц, – как-то так.

Но когда вошли в фойе – за час до церемонии, не раньше, – произошло совсем черт знает что: да здесь же все, ох, совершенно тебе чужие, ни одной – совсем! – знакомой морды, какие-то ливрейные лягушата по стенам стоят, все чего-то пьют, о чем-то бодро, весело лопочут, все время жрут, целуются друг с другом, ведут себя как гости в доме, где уже пятнадцать лет бывают каждый вторник и знают каждое пятно на кафеле и каждый волосок ковра, и кто-то посмотрел на меня, как на столб, а потом ринулся целоваться с невероятной красоты девочкой, перекинувшей через руку огромную копну собственных рыжих волос, и она так ему улыбнулась, как будто они с детства на одних качельках катаются, – и все грохотало вокруг, все грохотало, и тут я поняла, что это не барабаны в другом конце фойе, а мое сердце грохочет; что перед глазами у меня туман, а под коленками сидит какая-то нелюдь и дергает за ниточки сухожилий, и коленки – ррраз! – подгибаются, еще один удачный «дерг!» – и я тут сяду посреди фойе и, кажется, уже никогда не встану.

До туалета добралась едва ли не в слезах, держала только мысль о макияже – но все-таки добралась. Быть в зале надо через семь минут, а я стою тут белая как стенка и думаю: не может быть, совсем, никак не может быть, что это – я, я, Вупи Накамура, психобиолог по образованию, блестящий менеджер, жесткий, карьерный человек, стою здесь, в туалете, за семь минут до открытия Международного фестиваля эротических фильмов в Иерусалиме, и через семь минут среди прочих трейлеров на гигантском, видимом за четыре километра экране мелькнет и моя щека, на которой мохнатый палец с длинным когтем осторожно рисует спермой поблескивающий цветок. Все это совершенно нереально, и нереальнее всего то, что я умудрилась три секунды назад так ловко наклониться к зеркалу, что с хрустом разошелся шов на рукаве, о господи, не удастся так вывернуть шею, чтобы до конца понять масштаб катастрофы, о господи, вот это – то, чего мне нынче не хватало, о господи, Бо, это женский туалет, откуда ты тут взялся?! – о господи, я слышу, я иду.

Сесть прямо и плотно прижаться к спинке кресла, чтобы сбоку не было видно дыру. Четвертый ряд, место по центру – нас тут, кажется, весьма уважают. Спасибо, Бо, я совершенно в порядке, я просто думаю, что я совсем не я. По крайней мере, что я частично не в своем уме. Возможно, в Мэри-Эннином. Возможно...

...Я никогда не видела ни-че-го подобного! Ух! Ууух! Я даже не думала, что можно делать холо таких масштабов! Его же, небось, видно за сто пятьдесят километров! Ух ты! Я думала, они сейчас торжественно ввезут экран или там с неба его спустят, но холо! Послед-

ний раз я видела большой холофильм, когда мне было лет семь, когда некоторые голливудские студии пытались выстоять с помощью холо перед наплывом бионного кино. Естественно, это не сработало, и холо стал уделом уличных реклам (интересно, торчат ли из дырки на платье нитки?). И вот сейчас – роскошный, огромный холо, здесь, под открытым небом, яркий, как детская картинка, – круговая панорама Иерусалима, все крутится волчком, и в самом центре сижу я, и слева от меня проплывает мечеть Омара, ух ты! – мой дед бы плакал от счастья, если бы увидел мечеть Омара, а я, кажется, сейчас буду плакать от счастья по совершенно неизвестной мне причине (черт, надо ровно держать плечи, тогда дырка не так заметна), – да что с тобою, Вупи, что за дикий раздрай, то счастье, то несчастье, – как малое дитя! – а я и чувствую себя, между прочим, как малое дитя, как на салюте, как на дне рождения, как – ух ты! – как в цирке, когда вполне, возможно, понимаешь, что тебя окружает ужасный китч (золотые ангелочки ебутся по стенам), что все происходящее вульгарно (из-под земли выезжает золотая лестница со сценой на самом верху), что затеи плоски (огромный голографический член эякулирует настоящими, застревающими у публики в волосах золотыми блестками, а потом превращается в золотой перчик – символ фестиваля), что в целом тут дурно пахнет (чрезмерно сладкие духи соседки слева), – но все это повергает тебя в экстатический восторг, потому что это – иной мир, такой, какого нет и не может быть снаружи; потому что тут все создано для блеска – ух ты! – потому что ты – главный гость этого цирка, потому что ты – часть этого мира, возможно, слишком яркого, не слишком чистого, слишком шумного, не слишком изящного, слишком двуличного, не слишком безопасного – но зато полного славы, власти, денег, перспектив – ух ты! – всего, что ты так любишь, дорогая, всего, за чем ты готова гнаться, как белочка больная, скача по кабинетам ли хай-бай-индустрии, по съемочным ли площадкам порностудий. Тут нечего стыдиться, детка, тут нечего стыдиться. Не думай ни о чем сейчас, наслаждайся цирком, отдыхай от всего на свете, как следует отдыхай, детка, отдыхай, расслабься. Хлопай, отбивай ладоши – вон как вдруг взорвался весь зал, ух ты!

– Бо, чего это все так взорвались?

– Это Хельга Брауншвайц!

– Которая? Они же все одинаковые!

– А, ты же не знаешь. Вдоль лестницы всегда стоит пятьдесят одинаковых девок – ну, или мужиков, – морфированных под Человека Года. Значит, Человек Года – Брауншвайц.

– И их каждый год морфируют???

– Вупи, какая разница? Ох, какого черта Брауншвайц? Ей же триста лет!

– Они выглядят на шестнадцать.

– Ну, было бы странно!

– А почему плохо, что она?

– Да потому, деточка, что если они сейчас будут награждать пятидесятилетних баб, то до тебя еще двадцать лет не доберутся!

Однако.

Вон она сидит за три кресла от нас, в третьем ряду, вон все, кто может до нее достать, лезут к ней обниматься и целоваться, вон она пускает слезу (о господи, у нее два ряда грудей вдоль живота, по три груди в каждом, – и три, соответственно, декольте. И ни одного лифчика). И ты, как маленькая девочка, лыбишься во весь рот и машешь ей ручкой, и с ужасом слышишь, как – крррак! – еще сильнее расходится кошмарная дыра на твоём платье, о которой ты совсем, совсем забыла. Ух ты.

Глава 24

Щелк.

«— ...И что мы ему скажем?

— Не мы — я. Твое дело — поддакивать.

— Послушай, Ан, у меня сердце не на месте. Зачем он им нужен, а?

— Лесси, ради бога, прекрати истерику. Никто его не тронет, ну, поговорят они с ним — и все.

— И ты веришь?

— Послушай, Лесс, дай-ка я тебе объясню один раз и навсегда. От меня и от тебя не требуется верить или не верить. От меня и от тебя требуется делать, что сказали, и не думать о том, о чем нам думать не положено. Я тебе больше скажу: мне насрать, что с ним будут делать. Я замужем за Хави уже шесть лет — и ни разу, слышишь, ни разу мы с ним не говорили об этих девочках-мальчиках. И я не собираюсь с ним об этом говорить, и думать об этом тоже не собираюсь. И вообще — ты когда-нибудь видела этих девочек у нас на площадке? Я — нет. Значит, их не снимают. Значит, Хави действительно ничего такого им не делает. По мне — точка. Он тебе что сказал?

— Он сказал: нам периодически надо говорить, ну, с детьми такого возраста. Про то, как они себя ведут, во что одеваются, что чувствуют, ну, если у них взрослые любовники, боятся ли, то-се. Он сказал: нам это нужно для достоверности, ля-ля-ля-ля-ля.

— Чего тебе здесь неясно?..»

Щелк. Шшшшшшшш. Щелк.

«— ...Он сказал: нам периодически надо говорить, ну, с детьми такого возраста. Про то, как они себя ведут, во что одеваются, что чувствуют, ну, если у них взрослые любовники, боятся ли, то-се. Он сказал: нам это нужно для достоверности, ля-ля-ля-ля-ля.

— Чего тебе здесь неясно?..»

Щелк. Шшшшшшшш. Щелк.

«— ...Он сказал: нам периодически надо говорить, ну, с детьми такого возраста. Про то, как они себя ведут, во что одеваются, что чувствуют, ну, если у них взрослые любовники, боятся ли, то-се. Он сказал: нам это нужно для достоверности, ля-ля-ля-ля-ля.

— Чего тебе здесь неясно?

— Да ясно мне...

— Ну и очень хорошо. Послушай, мы тут одуреем от жары. Давай не застревать, а? Если увидишь кого подходящего — зови меня и сразу примажемся. Я хочу через полчаса выйти отсюда нафиг.

— Если им только поговорить — зачем он сказал «посимпатичней»?

— Потому что симпатичные ведут себя иначе, чем всякие уроды.

— Обычно он всегда просит посимпатичнее?

— Лесс, ты что — коп?

— Нет, блин, я просто, ну... У меня сердце не на месте.

— Засунь его себе в задницу. Там ему будет как раз. Все, пошли».

Щелк. Шшшшшшшшшшшш. Щелк.

«— ...-кола!..»

Щелк. Шшшшшшшш. Щелк.

«— ...Мне кока-кола!

— А мне спрайт! Тебя как зовут?

— Ян.

— Я Анни, а это Лиза.

- Клево.
- Ты круто танцуешь!
- Спасибо, вы тоже ничего себе. Можно я угощу?
- Ай-йя, а у тебя есть стиль! Лиз, скажи Яну спасибо, не стой буквой!
- Спасибо.
- Не за что.
- Ауч, она холодная.
- Я подержу.
- Нет-нет, все окей. Пойдемте вот туда, там не так грохочет. Я запарилась, ффффух...»
- Щелк. Шшшш. Щелк.
- «– ...учишься? В каком классе?
- Лиу-Синь Секондари, пятый. А вы в каком?
- В шестом. В Блю-ай Секондари. Знаешь, что это такое?
- Нет.
- Это киношкола. Мы учимся на киноактеров.
- Киношкола? Для детей?
- Для ОДАРЕННЫХ детей. Вместо обычной.
- Ай-йя.
- Спасибо. Я актриса, а Лиз вот – режиссер.
- Ай-йя.
- Спасибо еще раз.
- Это должно быть дико круто.
- Это дико круто. Но мы пашем, знаешь как? Я вот вчера говорила новеньким, которые пришли записываться на пробы: «Ребята, если вы думаете, что тут все блеск и слава – лучше идите назад, в свои простые школки. Здесь вам придется работать с утра до ночи».
- А у вас бывают пробы?
- Собственно, раз в год. Следующий раз – завтра. Лиз, правда, завтра, я не путаю?
- Да, завтра.
- А я могу попробовать?
- Эй, эй! Ты думаешь, это легко? У нас конкурс – шесть человек на место.
- Я талантливый.
- А кем ты хочешь быть?
- Актером.
- Актером – восемь на место. Впрочем, может, ты действительно талантливый...
- Думаешь?
- Не знаю, не знаю... А ты не боишься пролететь?
- Что мне надо сделать?
- Запиши адрес... А вообще нет, не надо. Если ты придешь туда сам, тебя еще и не пустят. Толпа в последний день такая – могут вообще сказать: все, больше не записываем. Лучше мы тебя проведем. Я могу устроить. Правда, Лиз?
- Легко.
- Завтра в десять утра на углу Парк-стрит и Шестнадцатой. Я не буду ждать ни секунды, у меня в половину съемки...»

Щелк. Шшшшш. Щелк.

- «– ...Завтра в десять утра на углу Парк-стрит и Шестнадцатой. Я не буду ждать ни секунды, у меня в половину съемки...
- Я не опоздаю!

– Постараюсь про тебя не забыть. Все, мы пошли, нам завтра на репетицию вставать. Лиз, ты допила? Забери стаканы, верни на стойку, завтра в десять, Парк-стрит и Шестнадцатая, бодренько держись, наш реж это любит. Бай-бай».

Щелк.

– Это значит, что у нас остается двадцать один час.

– А если они действительно с ним просто поговорят?

– Кшися, ты чего???

Глава 25

Говорит: только вы, Саша («Зовите меня «Лис». «Договорились!»), только вы, Лис, пожалуйста, не волнуйтесь, это в сущности очень простая процедура, меньше четырех минут, главное – не волнуйтесь – и все пройдет идеально. Хорошо, говоришь медсестре, хорошо, а что мне делать в эти меньше четырех минут, о чем мне думать? Главное, говорит она и осторожно подсовывает еще один маленький электронный пальчик тебе под волосы, главное – не волноваться.

Волноваться при этом действительно нечего совершенно, короткая и неошутимая процедура, и единственный неприятный ее элемент – это что для всех она как-то неуловимо связана со смертью, с мыслями о смерти, о собственной смертности, и, казалось бы, человеку моей профессии эти мысли должны быть – тертые-перетертые, совсем родные, но почему-то вот именно здесь-сейчас от них холодно и неприятно, неприятно и холодно, не хочется их думать, эти мысли, как-то сразу начинаешь мрачнеть, начинаешь немедленно волноваться, а главное, как уже сказали, главное – не волноваться.

Лежать удобно, прекрасная штука – эти обтекающие матрацы, прекрасная – и вредная, читал я в одном журнале, не дают полноценной поддержки позвоночнику, не позволяют мышцам расслабиться по-настоящему, но зато ощущение от такого матраца – как в теплой утробе, недаром его рекламируют эмбрионами и еще чем-то таким же, – потому что он обволакивает тебя и обнимает, и какую бы ты ни принял позу – он вокруг тебя, как облако, лежит. Здесь такой, и дома надо завести такой, когда появятся деньги, только без дырки для головы и, уж пожалуйста, без электродов.

Когда появятся деньги, когда и если. В принципе все дело в том, что деньги – есть, но тратить их в свете полугодового плана – ох, немедленно садится на живот огромная тяжелая жаба со взглядом налогового инспектора и давит, давит, давит невыносимо. Если бы не хотелось лишнего заработать – не пошел бы сюда почти наверняка, потому что с самого начала, с того момента, как Щ сказал, что платят восемь сотен в этом НИИ за кальку, пахло на меня холодной смертью, и так не хотелось... Но зато восемьсот азов за четыре минуты лежания на прекрасном матраце. С электродами, да, на голове, но они почти не мешают.

Как, говоришь ты медсестре, себя вести, о чем думать? О, говорит она, это хороший вопрос, правильный вопрос, важный. Делать надо так: как только вот тут замигает лампочка, надо лежать спокойно и повторять про себя: «Кошка, собака, кошка, собака, кошка, собака»¹. И каждый раз стараться как можно лучше, как можно детальнее себе представить кошку и собаку. Если можно – даже запах или, скажем, как шуршит. Говоришь «собака» – и собаку, потом «кошка» – и кошку. И опять – собаку, кошку. Одних и тех же? – спрашиваешь, и медсестра смотрит на тебя, умненького, ласково, и говорит: именно что одних и тех же, и каждый раз надо допредставлять себе детали, шерстку там, коготки или как мяучит. Кошка-собака, кошка-собака, кошка-собака. Получится? И я киваю, потому что – с чего бы не получиться?

Как только загорается лампочка, сразу понимаешь, что именно может не получиться: может не получиться не думать о постороннем, например, о том, что можно было согласиться на предложение Волчека, а не чистоплюйствовать – по крайней мере, не отвечать так с ходу отказом, – и тогда не лежал бы ради восьмисот азов тут, не чувствовал бы у себя за спиной Смерть в белом халатике медсестры. Не думай сейчас обо всем этом, не думай, а то все испортишь и вообще ничего не получишь. Давай, начинай: кошка-собака, кошка-собака, кошка-собака. Кошка получается нигерийская – тонкая, остросулая, с недобрый взглядом и с большими, по-тигриному круглыми лапами; собака – нормальная, такой вполне беспородный бар-

¹ Здесь и далее обыгрывается стихотворение Станислава Львовского из сборника «Три месяца второго года».

бос лохматый, но почему-то с ярко-красными, немигающими, как лампочки, глазами; нестрашными, но странными донельзя; ну что же делать, сказали одну и ту же – придется теперь опять представлять его себе после кошки, у которой – сейчас понятно – окрас пятнистый, видимо, морф или искусственная порода, и морда, оказывается, совсем не злая, просто из-за высоких скул и из-за худобы... собака смотрит внимательно-внимательно, но сидит молча, не лает... кошка перебирает лапами, ложится сфинксом...

Почему вдруг такое острое чувство смерти? Потому что калька, говоришь себе, – это вообще знак смертности, прижизненная посмертная маска с твоего мозга – все, что ты знал и умел, все, что опытом приобрел, записывается на... на что-то, на какой-то хитрый носитель, сейчас не помню – помню, что это какой-то гипербион, мегабион, квази, но не бион, черт, нет, не помню, совсем не помню. Когда Щ сказал – ищут доноров, видел в газете, один НИИ собирает кальки, – я даже не подумал, что он имеет в виду самим даваться в доноры, подумал – он рассказывает для прикола. Мало ли калек, сказал, зачем им снимать, вон пусть возьмется с нобелевскими лауреатами, обладателями премии Рихтера, лауреатами «ИнтеЛайфа». Эээ, сказал Щ, это бы они рады, но это им хрен, это закон запрещает. Закон, сказал Щ, запрещает трогать кальки до смерти – вообще, а после смерти можно только на носителя надевать. А им надо изучать, а по закону почти нет таких калек, которые можно изучать, понимаешь? То есть ты им подпишешь бумагу, что ты разрешаешь, вопреки закону, ее использовать или что-то такое. Господи, сказал я ему тогда, да калька же стоит каких-то страшных денег, их же делают гениям и президентам. Ну пиздато же, сказал Щ, гениям, президентам и нам с тобой. Зачем им люди с улицы? – спросил я тогда. А им это все равно, сказал Щ, у тебя же есть знания, приобретенные опытом? Значит, их можно целиком на кальку записать и потом изучать – что там они хотят изучать. А когда я умру, с калькой будет что? Передадут тем, кого ты по бумаге укажешь. Родственникам, то есть, мужского пола, если они захотят. Мне вот некого вписать, я поэтому особо ценный, калька у них навсегда останется; но я думаю, что ты тоже подойдешь. Ну давай, слушай, позвоним, если ты подойдешь – это восемьсот азов за нифига. Тебе что, лишним будет? Мне было нелишним. Мягкий матрац, восемь электродов, ласковая медсестра, чувство близкой смерти, надо перестать отвлекаться от кошки с собакой.

В список носителей у меня автоматически попадали мамин племянник Женя из Архангельска – и Виталик. Я мог отменить любого из них, но не стал – мне было достаточно все равно, что будет происходить после моей смерти, да и кому могут понадобиться мои умения-знания – этого я тоже представить себе не мог, чай, не нобелевский лауреат. Так что скорее всего, думалось, умри я – они бы все равно отказались от этой шебутни, да, теперь я понимаю, почему институт хотел доноров с улицы, наши со Щ кальки – они никому не нужны ни сейчас, ни потом; это, почитай, вечная собственность института – выгодно, удобно. Навсегда у них останешься ты, кошка, с твоим странным пятнистым окрасом и правым глазом, чуть пошире, чем левый, и ты, собака, станешь теперь их вечной заложницей, и, может, десятилетиями будут теперь здешние гуру во главе с проводившим осмотр нас на предмет здоровья профессором Львовским биться над загадкой твоих красных глаз – впрочем, я ведь совсем не представляю себе, что именно видно на кальке, может, и не узнают они ни о какой кошке, ни о какой собаке, может, и не почувствуют они, как мне сейчас неприятно это снятие посмертной маски, как жутковато мне от того, что калька с моей личности – нет, нет, ни в коем случае не личности, мы все знаем, что калька – это не личность, это просто запись некоторых участков мозга, только того, что приобретено опытом в качестве навыков и знаний, никакой личности, никакой души, не приведи боже, – но как же мне сейчас страшно и неловко от того, что я делаю нечто вроде предсмертных приготовлений, от того, что я сейчас вынужден, заставлен думать о смерти, о своей смерти, о смерти Щ, который лежит с электродами на голове в соседней камере, представляет себе собаку и кошку, собаку и кошку... Кошка смотрит на меня жалобно, собака придвигается ближе. Не смотри, шепчу, на меня, пожалуйста, кошка, и ты не смотри, собака.

Глава 26

Город-сказка, город-мечта. Даже мысль о том, что сегодня твой показ (впервые в жизни на большом экране; в животе порхают бабочки, в сердце колотится канарейка), не подтачивает блаженства, замешанного на библейском зное, белом камне, сладостных ожиданиях. На маленькую итальянскую булочку нежно ложится топленое масло, итальянский кофе жарится на решетке, капает «Лизмо Бис» (три года назад плакала навзрыд на их концерте в Лос-Анджелесе, – узнала от случайно встреченной одноклассницы, что у давней, давней, давно забытой школьной подруги умер сын – и вдруг прорвало). Стыдно, очень стыдно пижонить – но никак удержаться: не просто раскрываешь газету с описанием фестиваля, но хмыкаешь, разглядывая фотографии с церемонии открытия, и всем своим видом даешь понять (кому? единственному официанту! выпендрежница...), что ты-то человек сведущий, тебе-то тут все как родные, ты каждую рожу знаешь, а журналисты – да что они понимают в подноготной порнобизнеса, в наших профессиональных секретах... Слаще всего – программа фестиваля на последней странице (до сих пор невозможно поверить, вернее, трудно вообразить: главная иноязычная газета страны с программой чильного фестиваля, с подробным описанием фильмов, прошедших в первый день, с рекламой к ожидаемому через месяц крупнобюджетному зоофилическому изыску Начи Хаммурапи). Большая статья про «фурри» – оказывается, еще до всяких зооморфов снимали такой жанр, в Японии и в Китае в основном и в основном, конечно, мультики, качественный грим был дороговат. Странно даже подумать, что когда-то в Японии и Китае снимали такое теплое, мягкое и ласковое. Сейчас вся японская порнография – это «техно», какие-то чудовищные машины, и иногда в кадре с трудом удастся меж шестеренок живое тело разглядеть, а в Китае все – ну, может, кроме Ситника – снимают monster sex, оккупировали рынок целиком, это даже я знаю. А в программе – слаще всего увидеть «Дикую жизнь» со своей, пусть и мелкими иероглифами, но внятно набранной фамилией в качестве исполнительницы главной роли. А помимо всего этого – сладко узнавать морды, виденные на церемонии, и кое-кто уже даже представлен, и кое-кто уже даже обратил внимание, и даже в середине, вот, в статье, описывающей весь блеск (пускай слегка чрезмерный, но не без стиля все-таки, согласимся) церемонии открытия, читаем: «Вупи Накамура, дебютантка, привезенная Бо сотоварищи покрасоваться перед камерами, на вопрос о целях ее пребывания на фестивале ответила: “Засветиться”. Приятно, что не дура. Жалко, что не красавица». Трогательный еврейский мальчик, говорит, как все, кажется, местные, с очень жестким акцентом, с ужасным придуренным «х». Хххххиперштейн. Странно: «не дура» польстило, а «не красавица» не задело. Даже наоборот: слишком много там было юных морфированных красавиц. Чувствуешь себя приятным тридцатилетним безобразием.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.